

Константин Станюкович

«Берег» и море



Константин Михайлович Станюкович
«Берег» и море
Серия ««Морские рассказы»»

Zmiy

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=165646

*К.М.Станюкович. Собрание сочинений в 10 томах. Том 10.: Правда;
Москва; 1977*

Содержание

I	4
II	12
III	19
IV	23
V	28
VI	33
VII	36
VIII	41
IX	47
X	53
XI	64
XII	73
XIII	77
XIV	82
XV	89
XVI	95
XVII	98
XVIII	101
XIX	107
XX	117
XXI	120

Константин Михайлович Станюкович «БЕРЕГ» И МОРЕ

I

Скверное осеннее утро. В большом, внушительном, строгого стиля кабинете роскошной казенной квартиры адмирала Берендеева медленно и строго пробило одиннадцать.

В эту минуту осторожно, словно бы не смея нарушить торжественной тишины кабинета, вошел пожилой черноволосый лакей, с широким смышленным лицом, обрамленным заседевшими бакенбардами, опрятный и довольно представительный в своем черном сюртуке с солдатским Георгием.

Неслышно ступая большими цепкими ногами в мягких козловых башмаках, он приблизился к огромному письменному столу посреди комнаты, за которым сидел, погруженный в чтение какой-то бумаги, с длинным карандашом в маленькой, костлявой и морщинистой руке, низенький, сухощавый, совсем седой старик, с коротко остриженной головой и маленькою бородкой клинышком.

Он был в расстегнутом форменном сюртуке и в белом жилете. Белоснежный, тугой стоячий воротничок сорочки под-

пирал шею и горло в морщинах. Морщины изрезывали и длинноватое, гладко выбритое, отливавшее желтизною лицо с длинным прямым носом, напоминающим трудолюбивого дятла.

Утонувший в высоком, глубоком кресле, старый адмирал казался совсем маленьким.

Камердинер адмирала Никита, бывший матрос, выждал несколько секунд, взглядывая на адмирала и словно бы определяя степень серьезности его настроения.

Адмирал не поднимал головы и, казалось, не замечал своего камердинера.

Тогда, слегка вытянувшись, по старой привычке, Никита решительно и довольно громко произнес:

– Осмелюсь доложить...

– Дурак! – раздражительно оборвал старый адмирал, приказавший раз навсегда не беспокоить его по утрам, когда он занимается, добросовестно прочитывая доклады и добросовестно подучивая учебник механики, чтобы потом не обнаружить своего незнания на подчиненных людях.

– Дама желает видеть ваше высокопревосходительство.

Адмирал взволновался.

– Дама? Зачем дама? Какая дама?

– Супруга капитана второго ранга Артемьева. Молодая и брюнетистая по личности, ваше высокопревосходительство.

С этими словами Никита положил на письменный стол визитную карточку.

Адмирал, прежний лихой «морской волк», неустрашимый, простой и доступный, недаром после долгой службы на берегу изменился.

Если бы посетительница была с громкой фамилией или супруга человека с серьезным служебным положением, он хоть и выругал бы про себя даму, оторвавшую его от работы, но, разумеется, приказал бы немедленно просить.

«А то к нему, высокопоставленному лицу, работающему до одурения, лезет на квартиру какая-то Артемьева, жена капитана второго ранга... Да еще, дура, передает свою карточку... Очень нужно ему знать, что ее зовут Софьей Николаевной!»

Обозленный и дамой, и Никитой, и сегодняшним предстоящим заседанием, где ему придется говорить, защищая свой доклад, адмирал швырнул карточку и проговорил своим скрипучим старческим голосом, звучавшим гневную раздражительность:

– Скотина! Как ты смел пустить просительницу? Разве не знаешь, что просителей на дому не принимаю. Что курьер смотрел? Где он?

– Услан ее высокопревосходительством.

– Куда?

– В театр и к портнихе.

Адмирал сердито крикнул и сказал:

– Скажи просительнице, что может явиться в министерство... Прием от часа до двух... Понял?

«Ты-то стал меньше понимать на сухой пути!» – подумал Никита, служивший при Берендееве много лет: сперва – капитанским вестовым, а после отставки – камердинером на берегу.

И, вместо того, чтобы «исчезнуть», как исчезал, бывало, из каюты при первом же окрике своего капитана, Никита доложил:

– Я уже все обсказал даме, ваше высокопревосходительство.

– Что ж она?

– Не уходит!

– Как не уходит? – изумленно спросил адмирал, казалось, не понимавший такого неповиновения жены моряка.

– «Я, говорит, не могу уйти. Мне, мол, по экстре на пять минут поговорить, вот и всего!» Это сказала во всем своем хладнокровии и шмыг в залу.

– Экая нахалка!.. А ты болван!.. Иди и скажи ей, что я не могу принять. Пусть убирается к черту!

– Есть!

Никита вышел и через минуту вернулся.

– Ушла? – нетерпеливо спросил адмирал.

– Никак нет, ваше высокопревосходительство! Несогласна! – казалось, довольный, сказал Никита.

– Как она смеет? На каком основании?.. – подчеркнул адмирал: «на каком основании» – особенно любимые им слова с тех пор, как из отличного строевого моряка сделался

неожиданно для себя государственным человеком.

– На том основании, что «буду, говорит, ждать адмирала. Он, мол, не бессердечный человек, чтобы не найти пяти минут для женщины». Известно, по бабьему своему рассудку, не может войти в понятие насчет спешки при вашей должности! – прибавил Никита с едва уловимой иронической ноткой в его голосе.

– Это черт знает что такое!.. – бешено крикнул адмирал, поднимаясь с кресла.

И он заходил по кабинету, придумывая и, казалось, не придумавши, как отделаться от этой дамы.

– Какая наглость!.. Наглость какая! – повторил адмирал, похрустывая пальцами.

Адмирал уже представлял себе просительницу дерзкою психопаткой, а то и курсисткой, с которой, чего доброго, нарвешься на скандал и еще попадешь в газеты. Нечего сказать, приятно!

И какое может быть у нее экстренное дело к нему?

Взволнованный адмирал придумывал причины, одна другой несовместимее. Одна из них казалась ему вероятнее. «Верно, прилетела жаловаться на мужа, что прибил ее. И поделом такой женщине! Верно, и распутная. Иди с жалобой к экипажному командиру, а то лезет в квартиру... И не уходит... Курьера нет... Никишка... рохля!»

«Наглая баба!» – мысленно поносил старик просительницу.

И этот властный старик, который позволяет грубости и не про себя с подчиненными, избалованный их страхом дисциплины и раболепством, теперь чувствует бессилие, и перед кем? Перед какою-то бабой!..

Точно потерявший ум и засушивший на старости лет сердце, он злобствует на просительницу, трусит ее и, растерянный, не знает, на что решиться.

Решительный и сообразительный в море, он прежде знал, что делать при всяких обстоятельствах на командуемых им судах.

А теперь?..

Так прошла минута.

Отступив к двери, Никита взглядывал на беснующегося адмирала и мысленно порицал его.

«Не обезумей из-за своего звания, очень просто решил бы ты в секунд плевое дело, по рассудку и совести. На том свете уж ему паек идет, а он куражится над подчиненными людьми...»

Сочувствующий просительнице, пообещавший ей попытаться насчет приема адмиралом, он осторожно проговорил:

– Дозвольте доложить, ваше высокопревосходительство?

– Ну... Что еще?

– Просительница не осмелится зря докучать вашему высокопревосходительству.

– Почему?

– Она вовсе не озорного вида.

– А какого?

– Очень даже благородного обращения, ваше высокопревосходительство! Хоть по своей гордости и не оказывает обескураженности, плакать не плачет, а заметно, что в расстройке... Такая тихая, в строгой задумчивости сидит просительница и ждет!

И после паузы Никита значительно и серьезно прибавил, чтобы напугать адмирала:

– Как бы, грехом, с ней чего не случилось от отчаянности, ваше высокопревосходительство!

– Чего? – испуганно и растерянно спросил адмирал.

– Известно, по женской части. Схватит ее «истерик», и заголосит просительница на всю квартиру! – значительно и таинственно понижая голос, докладывал Никита.

Недаром же он клепал на просительницу с самыми добрыми намерениями человека, еще не забывшего совесть.

Он хорошо знал своего адмирала. Не раз наблюдал, как теряется старик, «давая слабинку», когда адмиральша, лет на тридцать моложе мужа, женщина, по словам Никиты, «шельмоватая», «форсистая» и еще «бельфамистая», довольно-таки часто занималась «истериком» и в такие минуты называла мужа «противною старою обезьяной».

Вот почему, пользуясь случаем, Никита «забирал ходу», как называл он смелость своего разговора с адмиралом, и продолжал:

– Одно только будет беспокойство вашему высокопревос-

ходительству, осмелюсь доложить... И ежели бы изволили потребовать просительницу, она живо бы обсказала свою причину, и... проваливай!

Адмирал снова назвал своего камердинера непечатным словом и прибавил:

– Черт с ней. Зови ее! Только предупреди: пять минут – и ни секунды!

– Есть, ваше высокопревосходительство! – отвечал Никита, не обращая большого внимания на брань и, казалось, очень довольный, скрывая свое горделивое чувство победителя.

«Только зря больше пяти минут куражился. Давно принял бы барыню и сидел бы за своими бумагами!» – подумал Никита.

И почти вприпрыжку «исчез» из кабинета обрадовать просительницу.

А старый адмирал, словно бы боявшийся уронить престиж власти, на который покушается жена капитана второго ранга Артемьева («И как он смел пустить свою дуру к высшему начальству!»), слегка выпялил грудь, нахмурил седые брови и, заложив за спину обе руки, остановился невдалеке от дверей в позе нахохлившегося дятла, готовый оборвать «нахалку».

II

Уже предубежденный против просительницы, адмирал в первую минуту не сообразил, что остановившаяся перед ним, слегка бледная, высокая, стройная женщина, в черном платье и в скромной шляпке, решительно ничем не походила на наглую психопатку, какую рассчитывал встретить его высокопревосходительство.

Не заметил, казалось, адмирал в просительнице и того невольно бросающегося в глаза, что заметил Никита: отпечатка простоты, порядочности и горделивой скромности и строгой одухотворенной красоты ее умного, энергического лица с большими темными, серьезными глазами.

Он только обратил внимание, что она не извинялась и не благодарила за то, что допущена к высокопоставленному лицу, и ее глаза глядели на него прямо, открыто и смело, полные надежды.

Этот взгляд, совсем непохожий на те заискивающие, рассчитанно-кокетливые и притворно-страдальческие взгляды, которыми большая часть просительниц достигала цели, только еще более раздражил уже раздраженного старика.

Какая дерзость!

И он едва кивнул головой на поклон молодой женщины. Вспыливший, он даже не спросил, что ей нужно, а сразу набросился на нее и почти кричал:

– На каком основании, сударыня, вы лезете в мою квартиру?.. Позвольте спросить, сударыня, на каком законном основании?! Должен я, что ли, бросить государственные дела и слушать каждую даму, которой вдруг «приспичит» отрывать серьезного человека от занятий? Казалось бы, что вы, как жена флотского офицера, должны это понимать. Не понимали, – спросили бы мужа... Или... нынче новая мода. С мужьями не советуются. Полная свобода... Жена сама по себе... Очень хорошо! Так спросили бы одного из ваших знакомых мичманов...

Просительница бледнела.

Казалось, она не верила своим ушам.

Изумленная, она еще пристальнее глядела на адмирала.

Презрительное молчание и высокомерный вид просительницы еще более обозлили старика.

И он кричал точно на мичмана:

– Добились своего, сударыня. Дурак-лакей впустил, вы воспользовались его глупостью, и я принужден вас принять. Так что же вам от меня нужно? Прошу говорить короче!.. Какое может быть у вас экстренное дело, чтобы ворваться сюда?

Вместо того, чтобы заговорить о деле, Артемьева повернулась и пошла к двери.

Адмирал опешил.

Прошло несколько мгновений. Голос его значительно понизился, когда он проговорил:

– Вернитесь, госпожа Артемьева!..

Она остановилась у дверей и с блестящими слезами на глазах произнесла:

– С меня довольно оскорблений, ваше высокопревосходительство.

По-видимому, только в эту минуту адмирал увидел, какую благородною правдивостью дышит печальное, негодующее и строгое лицо этой бледной брюнетки, изящной и красивой, и, казалось, сообразил, как грубо и оскорбительно кричал на просительницу.

И, приблизившись к ней, проговорил:

– Напрасно вы, сударыня, приняли так близко к сердцу мои слова.

– Напрасно? – изумленно и строго протянула Артемьева. И тихо, стараясь сдерживать себя, продолжала: – Вы, адмирал, верно, не помните, что говорили? Или вам кажется, что вы еще мало кричали и мало говорили оскорбительных слов, чтобы можно было их принять к сердцу... О, разумеется, сама виновата. Ведь я не рассчитывала на такой прием... Я думала...

– Вы могли бы пожаловать в часы приема! – перебил старик, словно бы оправдываясь.

И голос его стал мягче. И сам он не походил на высокомерного, грубого адмирала.

– Знала. Но мне было необходимо говорить с вами не при публике.

– Я принял бы вас отдельно и в министерстве. Поверьте, Софья Николаевна, что я не принимаю у себя на дому...

– Значит, я была введена в заблуждение... Мне говорили, что вы принимаете. Еще на днях графиня Штейгер...

Адмирал, пойманный во лжи, смутился.

Ведь он не отказывал просительницам поважнее и бывал с ними очень любезен.

И, вместо того, чтобы оборвать обличительницу, он почти виновато произнес:

– В очень редких случаях, Софья Николаевна...

– Так я надеялась на редкий, счастливый случай. Он был важен для меня. Мне с разных сторон говорили, что вы... добрый человек, и я поехала. Конечно, я знала, что вы бываете неразборчивы в выражениях с подчиненными. Вероятно, не сомневаетесь, что ни один из них не примет к сердцу слов человека, от которого зависит судьба... – с нескрываемою злою иронией вставила молодая женщина.

И, отдавшаяся властному чувству поруганного человеческого достоинства, грустная и скромная в смелости, она тихо и значительно, слегка вздрагивающим от сдерживаемого волнения голосом продолжала:

– Но смела ли я думать, что вы, заслуженный адмирал, станете кричать на женщину, как на матроса, и оскорблять ее, как не оскорбляют даже уличных женщин, уверенный, что можно делать все безнаказанно. Ведь я – жена капитана второго ранга Артемьева. А что если я вдруг урожденная

княжна или графиня, ваше высокопревосходительство?

Подавленный, растерянный и словно бы забывший, что он всесилен, властен и не знает противоречий, адмирал почувствовал словно удары бича в этих, давно неслыханных им, смелых словах.

Оробевший и бессильный перед беспощадною правдой возмущенной и оскорбленной женщины, он не осмеливался остановить ее.

Что мог он сказать в оправдание своей оскорбительной грубости и бешеного крика?

Новым криком: «Убирайтесь вон!»

Но – странное дело! – теперь просительница, бросающая ему в глаза порицание, не только не возбуждает в адмирале большей злобы или мстительности мелкой душонки, а, напротив, вызывает в нем невольное уважение к смелости правдивой души, стыд перед нею и сознание своего позорного поступка.

Казалось, он был подсудимым перед строгим судьей-просительницей.

А она говорила:

– Извините, ваше высокопревосходительство, что осмелилась отнять у вас время. Я наказана за свое заблуждение... Покойный мой отец Нерешимов много помог ему, – он так хорошо вспоминал о своем прежнем капитане на «Кречете»... И я все-таки уверена, что ваш гнев за мои слова не отразится на муже. Вы этого не сделаете! – почти просила

Артемьева.

Адмирал еще ниже опустил свою седую голову, словно не решался поднять своих выцветших смущенных глаз.

И молодая женщина почти мягко прибавила:

– Ведь мои слова были вызваны вами... И, быть может, когда ваше раздражение пройдет, вы убедитесь, что не все просительницы так выносливы, как ваши подчиненные. И... и вам будет стыдно.

С этими словами Артемьева хотела уйти.

Адмиралу уже было стыдно.

И стало еще стыднее оттого, что просительница, да еще дочь славного Нерешимова, его приятеля, который вышел в отставку, защищая свое человеческое достоинство, даже не желает говорить о своем деле.

«А ведь у бедняжки, верно, горе... Такие безнадежные глаза. И как похожа она на отца... Такая же... характерная...» – подумал адмирал.

И, взволнованный, испуганно воскликнул:

– Не уходите, Софья Николаевна!..

В голосе адмирала звучала мольба.

И виновато прибавил:

– Простите, если только можете, виноватого старика!..

Молодая женщина не ожидала такого впечатления ее смелых слов. Она не сомневалась, что после них дело ее потеряно и не стоило обращаться к адмиралу с просьбой.

И вдруг такая перемена!

Софья Николаевна была тронута. Она уж была готова если не оправдать грубого деспота-старика, то значительно уменьшить его вину. Теперь ей казалось, что она уж слишком резко обошлась с ним, словно бы забывая, что только благодаря этому адмирал почувствовал свое бессердечие и стыд.

Сама взволнованная и смущенная, молодая женщина промолвила:

– О, благодарю вас, Василий Васильич!

– Не вам благодарить, а мне... Вы проучили старика...

Присядьте, Софья Николаевна... Вот сюда, на диван...

Она опустилась на диван. Адмирал сел напротив.

– Что в вами?.. Чем могу быть вам полезен, Софья Николаевна? – спросил он.

Казалось, спрашивал не сухой формалист-адмирал, а ласковый, учтивый, добрый отец, старавшийся загладить вину перед обиженной дочерью.

III

– У меня к вам большая просьба, Василий Васильевич! – серьезно, значительно и тихо проговорила молодая женщина. И смущенно, краснея, прибавила: – Но только попрошу вас, чтобы она осталась между нами.

– Даю слово, что ни одна душа не узнает, Софья Николаевна.

– Прикажите назначить мужа в дальнее плавание. Я знаю, что освобождается место старшего офицера на «Воине». Муж имеет все права на такое назначение... Я прошу не протекции, а только напоминаю о праве.

Адмирал изумился.

Он припомнил, что муж просительницы, симпатичный, красивый блондин, еще два месяца тому назад отказался от блестящего назначения на Восток.

– Так, значит, ваш муж раздумал...

– Как раздумал?

– Он ссылался на семейные обстоятельства, когда я предлагал ему отвести миноносец в Тихий океан.

Кровь отлила от лица Артемьевой, и она решительно сказала:

– Он не хочет в плавание... Но ему необходимо идти... для его же пользы...

Адмирал пристально посмотрел на красивую женщину.

Она перехватила этот взгляд, казалось ей, подозрительный, и, гордо приподнимая голову, строго промолвила:

– Я люблю мужа и семью... Оттого и прошу вас отправить его в плавание...

– Разве он?.. – сорвалось у адмирала.

– Он благородный, честный, деликатный человек! – с горячею страстностью воскликнула Софья Николаевна, словно бы вперед запрещая кому-нибудь сказать о муже что-нибудь дурное.

– Я знаю... Как же... И способный офицер...

– Еще бы!

– С удовольствием исполню вашу просьбу, Софья Николаевна...

– И скоро он уедет?

– А вы как хотите?..

– Как можно скорее.

– Ему будет приказано через три дня уехать к месту назначения.

– Благодарю вас, Василий Васильич!

Лицо Софьи Николаевны немного прояснилось, и она поднялась с дивана.

Адмирал крепко пожал ее руку, проводил молодую женщину до двери и, почтительно кланяясь, сказал:

– Дай вам бог счастья. Не поминайте лихом!

– Добром вспомню, Василий Васильич!

– И если я буду вам нужен... зайдите.

– Непременно. От часу до двух – в министерстве...

– И ко мне прошу.

– Разве в особо важном случае... Иначе не ворвусь...

В прихожей Никита, подавая просительнице накидку, весело промолвил:

– Вот барыня, и слава богу...

– Вам спасибо, большое спасибо! – сердечно ответила молодая женщина.

Она полезла было в карман, но Никита остановил ее словами:

– Я не к тому, барыня... Не надо... А, значит, «лезорюция» от него вышла?

– Вышла...

– Вот то-то и есть... Только надо с ним, как вы...

– А как?

– Не давать спуску... Я слышал, как вы, барыня, отчитывали... Небось, войдет в рассудок! – довольный, сказал Никита и низко поклонился Артемьевой, провожая за дверь.

Она опустила густую вуаль, словно бы не хотела быть узнаною, торопливо спустилась по широкой лестнице и, очутившись на набережной, прошептала:

– Что ж... По крайней мере дети спасены!

Слезы невольно показались на ее глазах.

Софья Николаевна взглянула на часы. Было четверть первого.

И она наняла извозчика и попросила его ехать скорее в

десятую линию Васильевского острова.

Софья Николаевна не любила, чтобы дети сидели за столом без нее.

IV

Два мальчика-погодки – шести и пяти лет, и двухлетняя очаровательная девочка с белокурыми волосами, веселые, ласковые и небоязливые, радостно выбежали к матери в прихожую.

Она невольно полюбовалась своими красавцами-детьми и особенно порывисто и крепко поцеловала их.

И бонна, рыжеволосая, добродушная немка из Северной Германии, и пригожая, приветливая горничная Маша не имели недовольного, надутого или испуганного вида прислуги, не ладившей с хозяевами.

Они встретили Софью Николаевну приветливо-спокойно, без фальшивых улыбок подневольных людей, видимо расположенных к Софье Николаевне, уважающих, не боявшихся ее, хотя она и была требовательная хозяйка, особенно к чистоте в квартире.

Но чувствовалось, что она не смотрит на прислугу, как на рабов, и не считает их чужими.

По вешалке Софья Николаевна узнала, что мужа нет дома. – Я только переоденусь, и подавайте, Маша, завтракать! – проговорила она обычно спокойно и ласково. – И попросите Катю, чтобы оставила для Александра Петровича цветную капусту. Нам не подавайте!

– Барин только что ушли и сказали, что завтракать не бу-

дут...

– Так пусть Катя оставит капусту к обеду.

«Уже с утра стал уходить!» – с больным, тоскливым чувством подумала Софья Николаевна и пошла в спальную.

И гостиная-кабинет с двумя письменными столами, большим библиотечным шкапом, фотографиями писателей, пианино и холеными цветами на окнах и в жардиньерке, и спальная без ширм и портьер, и две комнаты для детей и бонны сверкали чистотою, опрятностью и сразу привлекали, как иногда люди, какою-то симпатичною своеобразностью.

В них даже пахло как-то особенно приятно. И воздух был чище. И дышалось легче.

Казалось, это было одно из тех редких, заботливо свитых гнезд, в котором приютился семейный мир.

Ничто в этой очень скромной обстановке не напоминало обязательно-показных гостиных «под роскошь», так называемых «будуаров», с намеками на «негу Востока» из Гостиного двора, темных, тесных детских и грязных углов, где «притыкается» на ночь прислуга.

Видно было, что здесь устроились по-своему, для себя, а не «для людей», как устраиваются «все».

Теперь это гнездо, свитое и оберегаемое любящею женой и матерью, – уже не то милое и родное, которое делало жизнь ее полною и счастливою.

Софья Николаевна переодевается и думает все одну и ту же думу, которая не оставляет ее с тех пор, как гнезду грозит

разрушение. Надо спасти мужа и детей, главное – детей.

И ей кажется, что спасет, чего бы ей ни стоило.

Недаром же она решилась на долгую разлуку с человеком, который так дорог ей, которого так безумно и влюбленно любит и – что еще тяжелее – не может, по совести, обвинить его.

Напротив!

Она знает, что он боролся и старается скрыть от нее свое тяжелое настроение, как скрывает свои муки и она.

Разве виноват он, что жена больше не нравится, и ему с ней стало скучно?

Виноват разве он, мягкий и доверчивый, что верит и поддается кокетству и лести Варвары Александровны, той красивой, веселой, блестящей и нарядной женщины, которая влюбляет его в себя и сама влюбляется только потому, что Шура красив и не хочет быть ее любовником.

Он слишком порядочен, чтобы обманывать жену, как не раз обманывала Варвара Александровна своего мужа.

И Софья Николаевна не обвиняла, как большая часть женщин, соперницу, а себя в том, что муж, семь лет любивший ее и, казалось, беспредельно, не на шутку полюбил другую.

Она слишком серьезна и слишком terre-a-terre для общительного и жизнерадостного Шуры. Она больше сидела дома, занятая детьми и заботами о гнезде.

Она знала свою власть над мужем и напрасно слишком пользовалась его безграничную привязанностью и добротой. Она сделала и его домоседом. Читал с нею, слушал ее впе-

чатления, советовался обо всем, и они изредка ходили в театр и на лекции, всегда вместе.

И муж не раз говорил, что счастлив. Он сознавал, что под влиянием жены, и радовался, что умница Соня, его друг и желанная красавица, сделала его серьезнее, отучила его от прежней пустой жизни и заставила думать о том, о чем прежде он не думал...

И вдруг она почувствовала, что ее счастье – над пропастью.

Софья Николаевна при первом же посещении Варвары Александровны поняла, отчего муж стал хандрить и чаще уходить из дому.

Софья Николаевна таила в душе скорбь и муки ревности и ни словом, ни взглядом не показала оскорбленной женской гордости. Она ждала, что ослепление мужа пройдет: он поймет эгоистичную, лживую натуру Варвары Александровны, и прежде вернется.

Но прошло два-три месяца.

Муж худел и, встревоженный и тоскливый, еще более задумывался, сидя за своим письменным столом или в столовой. Еще виноватее, ласково и внимательно говорил он о разных пустяках, словно бы доктор, говорящий с приговоренною к смерти. Он чаще носил Софье Николаевне цветы и конфеты. Еще порывистее ласкал детей и вдруг срывался с места по вечерам, хотя, случалось, и собирался остаться дома.

Он не говорил жене, как прежде, куда уходит. Он молчал, не желая лгать, выдумывая какой-нибудь визит к знакомым.

Не спрашивала, как прежде, и Софья Николаевна.

Она прощалась с мужем, не целуясь, только крепко пожимала его руку, казалось, спокойная, и не глядела на него, чтобы еще более не смутить его смущенного лица.

Софье Николаевне вдруг пришла в голову мысль, что, захваченный страстью, он может оставить ее и семью.

Недаром же он как-то тоскливо ей сказал: «Какая ты самоотверженная и благородная! Соня! Я тебя не стою!»

И тогда Софья Николаевна пришла в ужас. Решила отправить мужа в плавание, подальше от отравившей его женщины.

Ей казалось, что она думает только о нем и о детях, забывая себя.

Семь лет она была счастлива. Силой любви не вернуть. Но она должна удержать отца детям и спасти любимого человека.

Какое обрушится на него и детей несчастье, если на его шее будет две семьи? Он бесхарактерный, может запутаться и пропасть...

Будь она одна... Она не мешала бы новому его счастью и сказала бы: «Никогда не упрекну тебя. Разве виноват, что разлюбил меня?»

Так говорила себе Софья Николаевна. И в то же время иногда ей хотелось крикнуть: «Люби меня!...»

V

На следующее утро приехал курьер.

– Зовут в главный штаб к одиннадцати часам... Не понимаю, Соня, зачем требуют! – проговорил Артемьев приятным, мягким баритоном.

Это был среднего роста, стройный, хорошо сложенный блондин, казавшийся совсем молодым, несмотря на свои тридцать четыре года, с точно выточенными чертами красивого и привлекательного лица, с блестящими зубами и светло-русыми бородкой и пушистыми усами.

Особенно привлекательны были голубые глаза, добрые и ласковые, светившиеся умом.

Приученный женой, он уже с раннего утра, как только что встал, был в тужурке, с белоснежным воротником, повязанным регатом, чистый, опрятный и свежий, с приглаженными, слегка курчавыми светлыми волосами.

Софья Николаевна, тоже с утра одетая в черную юбку и свежую пунцовую блузку, гладко причесанная, побледневшая от бессонной ночи, побледнела еще больше при известии о том, чего вчера сама просила.

Она смотрит на милое, ласковое лицо красавца-мужа, и ей кажется, что она поторопилась... спасти его... Она преувеличила опасность и напрасно ездила к Берендееву.

В разлуке муж скорее отвыкнет от нее. Она останется од-

на...

И молодая женщина словно бы прозрела, что ее самоотвержение, которым гордилась, было не таким благородным побуждением, каким себя обманывала, а злым, ревнивым чувством и боязнью остаться с детьми без тех средств, которыми пользуется при муже. И ее, казалось ей, необходимая предусмотрительность представилась теперь нелепой. Чувство и страсть влюбленной женщины заставили ее забыть в эту минуту все: и детей, и соперницу, и обиду не близкой жены.

И она со страхом воскликнула:

– А если какое-нибудь назначение в плавание... Ведь ты не примешь, Шура!..

– Постараюсь, Соня! – промолвил Артемьев.

Артемьеву казалось, что бедная, встревоженная Соня и не догадывается, отчего он употребит все средства, чтобы не уйти в дальнее плавание.

И, смущенный, он проговорил, целуя руку жены:

– Не волнуйся заранее. Быть может, требуют по пустякам... Назначат членом в какую-нибудь комиссию...

– Но если не то... Если пошлют... Откажешься, милый?

– Непременно, Соня! – еще смущеннее вымолвил Артемьев, отводя глаза от этого бледного, красивого лица, полного выражения любви.

– И знаешь ли что, Шура...

– Что, Соня?

– Если начальство откажет...

– Тогда что делать? – испуганно воскликнул Артемьев.

– Я поеду к Берендееву и попрошу, чтобы тебя не посылали.

– Ты к Берендееву?.. Нет, не надо, Соня... Неловко, чтобы жена просила за мужа... Ты ведь сама не любишь таких протекций... Не такой ты человек, Соня... Нет, нет, ни за что! – порывисто прибавил Артемьев.

«Этого бы еще не доставало!» – подумал он.

– Хороший мой... Благородный! Ты прав! – чуть слышно сказала Софья Николаевна. – Так выходи в отставку! – неожиданно прибавила она.

– Не отпустят... И скоро ли получишь место... И на какие деньги будем жить, Соня... Подумай...

– Уедем отсюда в провинцию... Там дешевле жить... Там легче достанешь место... Там... ты повеселеешь... Не будешь хандрить, как в последнее время...

И, деликатно-сдержанная в последнее время в проявлениях ласки, Софья Николаевна обняла мужа и, прижавшись к нему, с тоской шептала:

– Уедем, милый... Уедем!

Артемьев гладил голову жены, жалел ее и в то же время думал о веселой, блестящей и остроумной женщине, которая завладела им какими-то чарами жгучих обещающих глаз и чувственную красоту ее лица, форм и фигуры, от которых ему не избавиться. Он думал, что она полюбила его до того,

что готова бросить мужа, если он оставит жену...

И он потерял голову... Он не в силах уйти от... Он называет себя подлецом перед Соней. Она – святая, благородная женщина. Но отчего же она кажется ему уж не прежней чарующею, властною красавицей, и с ней уж не так легко и весело, как с Варварой Александровной? Он привязан к Соне, бесконечно любит и уважает ее. А та не такая умная, святая и честная, как Соня, и между тем... она, одна она кажется ему дорогою, любимую и желанною.

Артемьев еще нежнее стал гладить голову жены и еще ласковее говорил:

– Не волнуйся, Соня... Сейчас узнаем, зачем меня зовут... Пора ехать.

Он осторожно отстранился от объятий жены, поцеловал ее маленькую горячую руку и ушел одеваться.

– Буду ждать тебя к завтраку! – сказала Софья Николаевна, провожая мужа.

Через час он возвратился совсем подавленный. Софья Николаевна была бледна, как смерть.

– Надо уезжать, Соня! Назначен старшим офицером на «Воина».

– А в отставку?..

– Просился. Отказали.

– Хочешь... я поеду к Берендееву.

– Нет... нет. Спасибо, Соня... Это невозможно...

И, целуя особенно нежно руку жены, точно прося в чем-

то прощения, вдруг раздумчиво промолвил:

– Быть может, и лучше, что в плаванье!

Через три дня Артемьев уехал в Одессу, чтобы там сесть на пароход Добровольного флота и идти на Дальний Восток.

VI

На другой день после памятного старому адмиралу визита Софьи Николаевны, Берендеев во втором часу сидел в своем кабинете и, слегка наклонив голову, внимательно и с удовольствием слушал доклад своего любимого помощника и советчика, начальника главного штаба, вице-адмирала Ивана Сергеевича Нельмина.

По обыкновению, он докладывал коротко, обстоятельно и почтительно-настойчиво, казалось, любуясь собой и видимо щеголяя своим деловитым красноречием и умением не раздражать «старого дятла», как называл про себя Нельмин своего начальника.

Это был высокий, плотный и еще очень видный, совсем заседевший брюнет с млажавым лицом и молодыми, слегка наглыми глазами, без бороды, с выхоленными усами, щеголевато одетый, благоухающий духами, с крупным брильянтом на мизинце.

Еще не особенно давно известный во флоте ругатель и «дантист», – он тогда словно бы нарочно щеголял грубоватостью и откровенной резкостью прямого «отчаянного моряка», носил фуражку на затылке, свысока смотрел на береговых моряков, признавал тогда только портер и херес, к женщинам относился с циничным высокомерием холостяка, с приподнятым негодованием возмущался «безобразиями»

во флоте, бранил за глаза высшее начальство и не раз говорил, что «плюнет на все» и выйдет в отставку. Невмоготу такому человеку!

Однако Нельмин в отставку не выходил.

Несмотря на его негодующие речи, он умел ладить с высшим начальством, которое часто посылало хорошего моряка в плавания, и в то же время пользовался среди мичманов репутацией лихого и независимого капитана, который не выносит ни малейшей подлости и готов пострадать за правду.

Обворожил Нельмин и двух влиятельных высокопоставленных лиц гражданского ведомства, которые как-то приехали в Кронштадт и посетили броненосец под командой Нельмина. Он показался им настоящим симпатично-грубоватым «*loup de mer*»¹, гостеприимным, прямым и открытым, чуждым хитрости и чиновничьей угодливости. Он любит только море и родной ему флот. А до остального ему нет дела.

И Нельмин, как говорили сообразительные моряки, «не зевал на брасах». Товарищи его, не смевшие и думать о гражданских чувствах, тянули служебную лямку, еще выплавывая ценз на контр-адмиральский чин, а Нельмин уже был вице-адмиралом и вовремя смекнул, что в те времена «морские волки» на берегу далеко не имеют привлекательности.

И Нельмин уже не кричал о «безобразиях», но зато писал, едва справляясь с изложением своих мыслей, записку об истинных задачах флота и лучших типов судов, стал вдруг счи-

¹ «Морским волком» (франц.)

тать себя очень знающим техником и умным государственным человеком. Словно бы в пику Берендееву, Нельмин стал доступен, изысканно вежлив с подчиненными, при случае говорил о русской исконной политике, русском железе, русских заводах, строящих русские крейсера, стал одевать фуражку на лоб, как старый холостяк, обедал часто у Донона с шампанским, бывал на технических заседаниях и с ловкостью и наглым бесстыдством «сухопутного волка» интриговал, где возможно, против старого адмирала.

Многие моряки, знавшие Нельмина раньше, когда он «геройствовал» и «разносил» даже титулованных мичманов, сынков влиятельных отцов, удивлялись перемене прежнего независимого ругателя.

Только более наблюдательные люди и прежний министр, которого особенно бранил Нельмин, хорошо знавшие искренность его благородного негодования и гражданского чувства, посмеивались и говорили, что Нельмин хоть и не отличается большим умом, но всегда был большой шельмой и отличным капитаном.

И все думали, что Нельмин скоро посадит на мель старика, и не ждали ничего хорошего от будущего начальника.

VII

Берендеев одобрил доклад своего любимца и спросил:

– Артемьева назначили старшим офицером на «Воина»?

– Точно так, ваше высокопревосходительство. Он имеет все права на плавание. Сегодня утром я объявил ему о назначении и предложил, согласно вашему приказанию, уехать через трое суток.

– И что же? Отлынивал?

– Да. Очень просил не посылать в Тихий океан.

– Разнесли его, конечно, Иван Сергеич?

С особенной аффектацией служебной почтительности, скрывавшей и зависть и снисходительное презрение честолюбивого интригана к старому отсталому адмиралу, Нельмин ответил:

– Я выслушал мотивы его просьбы, нашел их неосновательными и объявил ему, что не могу доложить об его просьбе вашему высокопревосходительству... Вы изволили его назначить... И, разумеется, не измените своего приказания без особо уважительных причин.

– Конечно, конечно! – поддакнул Берендеев. – И какие мог он привести причины?

– Разумеется, будто бы важные семейные обстоятельства! – И с циничной улыбкой Нельмин прибавил: – Я, ваше высокопревосходительство, догадываюсь, какие это важ-

ные семейные обстоятельства, из-за которых этому красиво-молодчине не хочется уезжать из Петербурга... Да еще на Восток... Любоваться китайками и японками или таким «бабцем», как начальница эскадры Тихого океана, при которой адмирал – вроде вестового.

Старый адмирал поморщился.

У него сохранились еще некоторые правила, едва ли знакомые многим чиновным людям того времени, более приспособленным к жизни на берегу и обладающим большими административными талантами, чем Берендеев, пробывший полжизни в море. Он брезгливо останавливал разговоры, имеющие характер сплетни, наговора или злоязычия, про сослуживцев, и особенно гневался, если кто-нибудь из желающих прислужиться адмиралу начинал передавать ему то, что о нем говорят, или кто его бранит. Тогда старик резко обрывал и негодуя кричал:

– Мне не нужны сыщики. Я адмирал русского флота, а не начальник сыского отделения!

На этот раз, благодаря визиту Артемьевой и ее странной, непонятной просьбе об отправке мужа, Берендеев сконфуженно спросил:

– О чем же вы догадываетесь, Иван Сергеич?

– Вы ведь не любите, ваше высокопревосходительство, все то, что изволите называть неслужебными разговорами...

– Все-таки... говорите, Иван Сергеич.

«Небось, и „старый дятел“ разрешил себе любопытство!»

– насмешливо подумал Нельмин. И, довольный, что может рассказать нечто пикантное в его вкусе, Нельмин весело улыбнулся и, выдержав паузу, спросил:

– Изволили видеть Каурову, ваше высокопревосходительство?

Старик утвердительно кивнул головой. Эта несимпатичная ему дама бывала у его жены.

– Недаром ее прозвали «великолепной Варварой»... Невредная барынька... «Юнонистая», обворожительная и знает, чем довести до ошаления и старого и малого. Ну, и с темпераментом, и без предрассудков. Мужу еще два года плавать на Востоке... Не оставаться же «великолепной Варваре» безутешной вдовой... Артемьев и втюрился... Каурова и обрадовалась отбить такого красавца от жены... Та – очень пикантная брюнетка... Но строга... Своего благоверного только и признает... Он и взбунтовался... «Великолепная Варвара» и сама влюбилась... По крайней мере и прежнего своего обожателя второй молодости не удержала для контенанса и подарков... Уволила по третьему пункту...

Старый адмирал понял странную просьбу Артемьевой и только удивился, как Артемьев мог променять свою жену на Каурову.

Но зато как противен был Берендееву этот игриво-цинический тон своего любимца.

И, прерывая Нельмина, он с упреком проговорил:

– Пакостно вы думаете о женщинах, Иван Сергеич.

«Я не такая фефела, как ты, „старый дятел“, влюбленный в свою продувную адмиральшу!» – мысленно промолвил Нельмин.

И, словно бы извиняясь за свои взгляды на женщин, сказал:

– Старому холостяку это простительно, ваше высокопревосходительство.

– Все-таки... Женщина... Мало ли врут на женщин... Пожалеть надо чужую репутацию...

– Могу уверить, ваше высокопревосходительство, что репутация «великолепной Варвары» прочно установлена. Я хорошо это знаю... – подчеркнул Нельмин, значительно усмехнувшись, словно бы намекая, что был близок с Кауровой.

С этими словами он поднялся с кресла и почтительно-официальным тоном спросил:

– Не будет никаких приказаний, ваше высокопревосходительство?

Старик задумался, словно бы припоминая что-то, что нужно сказать, озабоченно нахмурил брови и забарабанил по столу сморщенными, костлявыми пальцами. И длинный нос его точно нюхал воздух.

– Кажется, ничего! – нерешительно протянул Берендеев, взглядывая на часы.

Он вспомнил, что у него одно очень неприятное решение и что его ждут другие доклады, хотел было отпустить Нельмина, как вдруг спохватился и, довольный, что вспомнил,

расправил брови, перестал барабанить и торопливо сказал:

– Ведь в пять часов встреча персидского шаха?

– Точно так, ваше высокопревосходительство. На Варшавском вокзале.

– Так, пожалуйста, поезжайте встретить вместо меня шаха, Иван Сергеич... Вы помоложе... А старику одевать мундир и тащиться на вокзал и утомительно, и жаль тратить время... И то заболтался с вами о пустяках.

– Слушаю-с, ваше высокопревосходительство!

Видимо довольный приказанием, – Нельмин еще не имел брильянтовой звезды «Льва и Солнца» и рад был случаю показаться в блестящем обществе придворных сановников, – он почтительно пожал протянутую руку старика и молодежато, высоко подняв голову, вышел из кабинета.

VIII

Берендеев, по обыкновению, сидел в министерстве до шести часов. По утрам и по вечерам он работал дома. Все только удивлялись неустойчивости и выносливости семидесятилетнего старика.

С обычной добросовестностью принимал он доклады начальников управлений, рассматривал чертежи техников, выслушивая их объяснения и стараясь уяснить себе, и нередко должен был решать вопросы, которых не понимал вполне и решения которых подсказывались докладчиками. Он читал донесения, записки и просьбы, подписывал, разрешал, отказывал, – одним словом, делал все то разнообразное и многочисленное дело, за которое считал себя ответственным не только перед высшей властью, но и перед своей совестью, и которое старался делать на основании закона и ради пользы любимого им флота.

Берендеев вникал во все – и в важное и крупное, и неважное и мелкое, все хотел понять, всегда старался сэкономить казенную копейку, писал циркуляры о правильности расходов топлива и материалов. Сам безукоризненно честный, он обещал строго преследовать злоупотребления и очень брезгливо относился к посяганиям на казну под разными, казалось, благовидными предложениями.

Весь отданный работе и заботам, расплываясь в мелочах и

желавший все делать сам, он упускал из вида или не имел общего плана, и в его деятельности, полной неутомимой энергии, не чувствовалось объединяющей мысли. Он точно делал Сизифову работу и не представлял себе ее значения.

Когда он был командиром судов и начальником эскадры, он знал, что ему нужно было делать и для чего он делал. Не сомневался в своем умении управлять кораблем и эскадрой и переносить шторм или вести ее в бой, уверенный в матросах и офицерах.

И в море он был и спокоен, и в отличном расположении духа, и не знал ни сомнений в себе, ни раздражительной грубости и подозрительности к подчиненным.

Берендеев любил власть и давал ее чувствовать в море не столько по праву положения, сколько по праву знания, находчивости и неустранимости. Но он не знал той влюбленности в свою власть и в то же время той неуверенности в ее нравственной силе, которые явились на берегу в лихом моряке, сделавшемся государственным человеком.

И в редкие минуты, когда Берендеев отрывался от работы, которую он сам себя добросовестно изводил, он испытывал сомнения в плодотворности и даже нужности всего того, что делает, и в такие минуты думал, что вся его работа, которой нет конца, все его старания и усердие, все его циркуляры, выговоры и «разносы» не достигают цели. И старику кажется, что он один в поле не воин, и что положение не по его силам.

Тогда он и сам, казалось, не был вполне уверен в необходимости именно тех многомиллионных броненосцев, которые он разрешает строить по примеру других стран и которые подвергаются по временам критике в печати.

Но какой нужен России флот, какие типы судов лучшие? Берендееву некогда было думать об этом, да он и не мог бы предложить что-нибудь другое, неуверенный в пользе того, чего сам не знает.

Он видел, что талантливых командиров нет. Более способные думали о собственном благополучии. Служба для них была не целью, а средством для карьеры и добывания возможно большего содержания. Фокусники, как называл Берендеев тех, которые старались выдвинуться чем-нибудь не ради дела, а только для того, чтобы о них кричали, возбуждали в старике презрение, и проект ледокола для плавания к Северному полюсу, представленный ему, казался старику нелепостью и «фокусом» для моряков.

Берендеев часто посещал суда, делал смотры, ходил на несколько дней в плавания и находил, что, благодаря системе ценза, хороших капитанов мало, и способные офицеры бегут из флота. Он со стыдом узнавал, что броненосец потонул среди белого дня оттого, что наскочил на камень. И где же? В Финском заливе, где, казалось, многолетние промеры должны были найти камень и оградить его! Каждое лето он получал телеграммы или рапорты о том, что суда притыкались к не нанесенным на карты камням или просто «напа-

рывались» по беспечности или нераспорядительности самих же моряков. С ужасом узнавал старик о злоупотреблениях командиров и ревизоров в дальних плаваниях и о систематических кражах в каком-нибудь порте...

И Берендеев отдавал виновных под суд, писал более убедительные циркуляры, призывая к чувству долга, снова работал, не покладая рук, и снова сомневался в своей способности управлять флотом, когда на его честную седую голову опять падало известие о каком-нибудь громком злоупотреблении или о какой-нибудь халатности, воистину преступной.

И были минуты, когда он считал обязанностью уйти от власти.

С доблестью прямодушного человека он докладывал правду, считал во всем виноватым себя и свою неспособность и взволнованно просил заменить его более способным и достойным человеком...

– А кем?

Честного старика успокаивали, просили продолжать свою неусыпную, безукоризненную деятельность, и он оставался, еще более работал, во все вникал, все выслушивал, решал, подписывал, ворчал, пылил и грубо разносил с распушенностью избалованного подобострастием деспота, раздражался и бешено негодовал, как честный человек, чувствующий по временам себя как в лесу и сознающий свое бессилие.

В седьмом часу, совсем уставший, Берендеев вернулся домой, и тотчас же подали обедать.

Он был в духе сегодня. После супа он с боязливой неясностью пошутил с «Милочкой», как звал старик свою жену, Людмилу Ивановну, величественную, с необыкновенно крупными формами даму, еще моложавую для своих сорока лет, с красивым, хорошо подкрашенным лицом и волоокими подведенными глазами.

Сказал несколько слов и племяннице жены, очень молодой вертлявой девушке, невесте гвардейского офицера, уже собиравшегося выйти в отставку и просить у будущего дяди приличного места. По крайней мере «тетушка» обещала устроить. Недаром же старик любил и побаивался своей супруги – и главное – ее истерик.

После обеда Берендеев, по обыкновению, поцеловал крупную, надушенную руку, унизанную кольцами, и пошел «вздремнуть», как адмиральша вошла за мужем в кабинет и сказала:

– Коля брат был утром. Он, бедняга, обижен... Уж ты устрой его... Я обещала...

– Что обещала, Милочка?

– Что ты назначишь его старшим офицером на «Воина». Он имеет все права, а между тем Нельмин не назначает его... Это ведь свинство...

– Старший офицер уже сегодня назначен. А насчет прав твоего брата велю доложить...

– Так можно отменить, Вася, – с вкрадчивой нежностью сказала адмиральша.

– Не могу, Милочка.

– Но я прошу...

– Право, нельзя.

– Для меня? – удивленно спросила Людмила Ивановна.

– И для тебя... Артемьев назначен на законном основании.

– Скажите, пожалуйста... Верно, Нельмин на тебя повлиял... И ты слушаешь... Отмени распоряжение... Слышишь?

– Не путайся не в свои дела, Милочка...

– Так ты так-то ценишь меня?.. Так любишь?

И адмиральша выбежала.

Через минуту Никита доложил, что у барыни «истерик».

Адмирал, однако, сегодня послал камердинера к черту и лег спать.

Когда через час Берендеев встал, Никита, подавая своему барину стакан чая с лимоном, весело доложил, что «истерик» благополучно прошел, и у барыни гости.

И обрадованный старик прошел в кабинет и сел к письменному столу.

IX

В погожее декабрьское утро пароход Добровольного флота входил в Нагасаки.

Среди нескольких английских, французских и японских военных судов были и два русских: внушительный и неуклюжий, весь черный гигант-броненосец «Олег», под контр-адмиральским флагом на голой мачте с боевым марсом, и рядом весь белый трехмачтовый красавец-крейсер «Воин», с высоким рангоутом и с двумя слегка наклоненными трубами.

Пароход отдал якорь.

Артемьев простился с капитаном, офицерами и пассажирами-спутниками из Одессы и отправился на «Воина».

Хотя моряк и считался способным офицером, но он поглядывал на изящный и блестящий крейсер без профессионального удовольствия.

Напротив.

Невеселый, он думал о двух годах вдали от «великолепной Варвары», да еще стоянок на японских и китайских рейдах или во Владивостоке – далеко не интересном главном порте нашей окраины.

Артемьев бывал уже здесь.

Еще холостым лейтенантом служил он на броненосце и не забыл, как пошло, глупо и бесцельно проводил он время,

стараясь избыть скуку рейдовой службы.

Ему казалось, что морская профессия не имела того смысла и той прелести, о которых говорили моряки другого поколения, плававшие в шестидесятых годах.

Эти дальние плавания, эта полная опасностей служба закаливали характер и воспитывали тот морской дух, который не имел ничего общего с его безразличным отбыванием служебных обязанностей.

Тогда и на флот повеяло свежим воздухом шестидесятых годов. Моряки словно бы прозрели, что матросы – люди. И многие стыдились того, что еще недавно казалось таким простым, обыкновенным и необходимым: и жестокости, и бессмысленно строгой муштры, и своего невежества обо всем, кроме своего ремесла.

Тогда находились редкие адмиралы и капитаны, которые умели делать службу осмысленною, а не каторгой или тоской, и в то же время заставляли своим влиянием молодых офицеров видеть в чужих странах не одни только рестораны и туземных кокоток.

И где только не пришлось побывать морякам в прежних дальних плаваниях!

И поездки в Лондон и Париж из портов, куда заходили суда, и южная загадочная Индия, и Калифорния с ее сказочно выросшим «Фриски», и быстро сделавшаяся из страны каторжников свободная и богатая Австралия, и роскошь островов Зондского архипелага и Тихого океана – все это было

действительно поучительным отдыхом после длинных иногда и бурных нередко океанских переходов.

Зато они хорошо знакомили русских моряков со штормами и ураганами и поднимали в них чувство хладнокровия, неустрашимости и долга в этой борьбе человека с расшвырянным стариком-океаном, грозившим со стихийною жестокостью смертью.

И берег манил многих моряков иначе, как манил моряков другого поколения. Тем было стыдно не прочесть чего-нибудь о стране, куда шли, не повидать чего-нибудь действительно интересного, не сравнить чужой жизни и обычаев с нашими и подчас не задуматься о том, о чем и не думалось.

И сама прелесть роскошной природы, и этот то бурный, то ласково рокочущий океан, и высокое бирюзовое небо, и восход и закат солнца, и дивные серебристые ночи с бесстрастно-томным месяцем и мириадами ласково мигающих звезд – все, все, казалось, говорило и пело о чем-то приподнятом, умиленном и хорошем более чуткой и проникновенной душе моряка от более частого его общения с природой.

Эти плавания оставались часто прелестными воспоминаниями.

Артемьев мог вспомнить о своем первом дальнем плавании, как и большая часть сослуживцев, как о чем-то тусклом, скучном и неприятном.

Часто чинили машину броненосца. Трусили на переходах. Однообразны, скучны были долгие стоянки на Дальнем Во-

стоке. Плавали редко, ради осторожности капитана, боявшегося и перетратить уголь, и испортить благополучие своих плаваний, и следовательно карьеру.

Неуверенный в умении управлять своим броненосцем, стоящим миллионы, он не любил плавать и недолюбливал моря. Недаром же его называли «цензовым» моряком. Добродушно лукавый, не строгий по службе и даже слегка заискивающий у офицеров, как человек, у которого есть какие-то секретные фамильярные отношения к казенным деньгам, он только «выплювывал» ценз, чтобы поскорее быть произведенным в контр-адмиралы с увольнением по семейным обстоятельствам в отставку, – благо честолюбия в нем не было и деньжонки припасены. С таким подспорьем к пенсии можно жить скромненько с семьей хотя бы и в Петербурге.

Молодой лейтенант три года на Дальнем Востоке добросовестно служил, исполняя нехитрые обязанности вахтенного офицера и не питая уважения к своему капитану.

Мягкий, добрый по натуре сам, он не наводил страха на матросов, но «умывал руки», когда другие наводили его. Не его дело, хотя и неприятно.

Он не думал, как и большая часть людей, ни о задачах и правилах жизни, ни о том равнодушии ко злу, личному и общественному, которое испытывал и сам и видел в сослуживцах и в товарищах. Он только смутно понимал и чувствовал, что не так благополучна жизнь, и что на морях, как и на всех интеллигентных людях, отражаются общие веяния, по-

нижающие нравственные и общественные запросы.

Недаром же ему были несимпатичны и неразборчивость средств в погоне за карьерой, положением и деньгами, и те успехи наглости, лицемерия и невежества, которые невольно бросались в глаза и в обществе, и среди моряков, и среди тех корреспондентов, называющих себя литераторами, которые выхваляли «чудеса техники и деятельность высшего морского начальства», и в газете, которую по привычке Артемьев читал и на Дальнем Востоке.

И Артемьев отбывал службу на броненосце и старался избыть скуку на берегу. Там вместе со всеми дулся в карты, покучивал и, после ужинов, обильных вином, «любил» и китайнок, и японок, и заезжих француженок, и англичанок, и русских быстро влюбляющихся окраинных дам.

Он не особенно разбирал достоинства и прелести женщин, но зато и забывал их на следующий день. Только встреча после возвращения в Россию с Софьей Николаевной и любовь к ней, непохожая на прежние авантюры, заставили взглянуть на себя, одуматься и о многом задуматься... И семь лет пронеслись так счастливо!

А теперь?..

«Ужели он такой „подлец“, что не может ни сбросить с себя чар „великолепной Варвары“, ни признаться „святой Софии“, что она нелюбимая, и они должны разойтись?»

Такие мысли пробегали в голове Артемьева, когда ему живо представилось последнее прощание с Варварой Алек-

сандровой, вдруг сделавшейся «Вавочкой». Словно бы в доказательство своей любви, она вдруг решилась «забыть для него первый раз в жизни долг жены», и горячею лаской еще более отравила доверчиво влюбленного моряка.

Х

Когда Артемьев подъехал к крейсеру, там пробили две склянки.

Был час дня. После обеда команда отдыхала. Кроме вахтенного офицера и нескольких вахтенных матросов, наверху – ни души.

«Видно, не обрадовались новому старшему офицеру!» – подумал Артемьев, приставая к борту.

Щегольски одетый, в белой тужурке, мичман, в фуражке по прусскому образцу, входящему в моду, безбородый, с закрученными кверху усами, недурной собой, бойкий и не без апломба на вид молодой человек, резким, отрывистым голосом вызвал фалгрёбных и встретил Артемьева, приложив с официальной напускною серьезностью к козырьку свои выхоленные белые пальцы с несколькими кольцами на мизинце и не без церемонного любопытства рассматривая нового старшего офицера.

О назначении Артемьева на «Воина» уже знали из телеграммы, полученной из Петербурга капитаном.

– Командир дома? – спросил Артемьев, протягивая руку.

– Дома. Только что позавтракал. Верно, еще не спит.

Этот бойковатый, навязывающийся на фамильярность мичман, напомнивший Артемьеву новый во флоте тип «аристократических сынков» и хлыщей, которые рисуются дека-

дентскими взглядами, хорошими манерами, – не понравился Артемьеву, и он с большою сухостью проговорил:

– Велите принять со шлюпки мои вещи и пошлите доложить командиру, что я прошу позволения явиться к нему.

И мичман, уже скорее с почтительным видом подчиненного, промолвил:

– Есть. Прикажете снести в вашу каюту?

– Разве старший офицер уехал?

– Две недели тому назад! Уж мы целый месяц стоим здесь! – прибавил мичман.

И, иронически почему-то усмехнувшись, отдал приказания.

Через минуту сигнальщик доложил:

– Командир просят в каюту!

Артемьев пошел вниз, а мичман Непобедный решил, что новый старший офицер – не из «порядочного общества». Да и фамилия!.. «Что такое Артемьев?» – проговорил мичман.

– Честь имею явиться. Назначен старшим офицером!

Кругленький, толстенький, небольшого роста, упитанный человек лет сорока, в тужурке, с большою бородой, маленькими живыми глазами, лысый, с маленьким брюшком и добродушным лицом, точно сорвался с дивана и торопливыми, суетливыми шажками приблизился к Артемьеву и протянул пухлую, с ямками, короткую руку.

И, как будто о чем-то вспомнив, он вдруг принял серьезный начальнический вид командира, то есть нахмурил лоб,

откинул кверху свою круглую голову, приподнялся на носках, словно бы стараясь казаться выше ростом, и неестественно внушительным тоном, который казался ему необходимым по его положению и который сам казался ему и не к месту и стеснительным, проговорил, слегка понижая свой крикливый голос:

– Получил о вашем назначении телеграмму... Очень рад... Знаю по вашей репутации... Уверен, что приобрету в вас хорошего помощника... И... тому подобное...

Капитан запнулся и несколько раз повторил: «И тому подобное», – слова, которыми несколько злоупотреблял и не всегда кстати.

Но, словно бы убедившись, что играть в начальника и приискивать глупые слова совершенно достаточно, он приветливо растянул рот, открывая блестящие зубы, улыбнулся и глазами и лицом, пригласил садиться и радушно спросил, завтракал ли Александр Петрович, и, узнав, что Артемьев завтракал, предложил рюмку «матерцы».

Артемьев отказался и от вина.

– Так стакан чайку... Эй, Никифоров! Чаю! У меня отличный коньяк... Надеюсь, мы поладим и ссориться не будем. Не люблю я, Александр Петрович, ссориться... И без того здесь отчаянная скука... Вот увидите... Так чего еще ссориться! Мне год отзванивать ценз... А вы на сколько лет к нам?

– На три! – недовольно протянул Артемьев.

– Долгонько!

И капитан меланхолически свистнул.

– Ведь и вы, Александр Петрович, женаты. И я имел честь встречать вашу супругу. Конечно, не в разводе?.. – шутливо прибавил Алексей Иванович.

– И не разведен, и трое детей, Алексей Иванович!

– В некотором роде: «бамбук»!

Толстый капитан зажмурил глаза и рассмеялся необыкновенно добродушным, заразительным и приятным смехом.

– Просились сюда? – уверенно спросил он.

– Назначили. И никак не отвертелся, Алексей Иванович, – смеясь, ответил Артемьев.

И подумал:

«Добрый человек этот Тиньков. С ним, конечно, будем ладить!»

– А я, батенька, просился. Пять детей детворы, – я ведь большую часть службы отстаивался по летам на мониторах в Транзунде! – довольно усмехнулся при этом капитан. – Ну, долги... И тому подобное... Надел мундир и к Берендееву... Понимаете?.. Поневоле попросишься и в эти трущобы...

Вестовой подал чай. Алексей Иваныч подлил *fine champagne*² гостю и подлил себе.

Видимо обрадованный, что может поболтать с новым порядочным человеком, да еще с помощником, с которым можно нараспашку посудачить о высшем начальстве, капитан на-

² Водка высшего качества (франц.)

чал расспрашивать о том, что нового в Петербурге и в Кронштадте, остается ли Берендеев на своем месте, или, в самом деле, назначат Нельмина («Порядочный-таки прохвост и все такое!» – вставил Алексей Иванович), и, узнавши от Артемьева, что Берендеев не уходит, капитан, вероятно, по случаю такого приятного известия, подлил себе еще коньяку и подлил гостю и, отхлебнув чаю, проговорил:

– По крайней мере наш старик – не шарлатан. Честный и справедливый, и работающий. Ему не смеют нашептывать... И тому подобное... Шалишь...

Посудачив с удовольствием о разных начальниках центрального управления, Алексей Иванович познакомил своего старшего офицера и с начальником эскадры, контр-адмиралом Парменом Степановичем Трилистниковым.

– Ничего себе... Не разносит. Любит только, чтобы матросы громко и радостно встречали. А на ученьях не придиричив. И сам небольшой до них охотник... Кажется, только и думает, как бы окончить свои два года и вернуться. Одним словом, был бы спокойным адмиралом, если бы не адмиральша...

– А что?

– Увидите... Она ведь здесь, на «Олеге»... Дама воинственного характера. Вроде Марфы Посадницы... И все такое... Перед ней адмирал пас... А она всегда с адмиралом будто с бескозырным шлемом в руках. И чтобы подчиненные ее боялись... Очень апломбистая! Всякую смуту заводит на

эскадре... Запретили бы в Петербурге начальникам эскадр своих жен... Только наш адмирал краснеет, а выйти из-под начальства адмиральши не смеет... Она и переводит и назначает офицеров. К одним благоволит, других не любит. Понимаете... Все-таки военный флот, и вдруг баба!.. Нехорошо!..

– Совсем гнусно... Уж я слышал.

– И еще, слава богу, эта самая Марфа Посадница, с позволения сказать, – сапог и под пятьдесят... Даже матрос после долгого перехода не влюбится... И все подобное... А что если бы такая начальница да была молодая и обворожительная, вроде «великолепной Варвары»? Что бы вышло?..

– Какой «великолепной Варвары»? – порывисто спросил Артемьев.

– Да вы, Александр Петрович, разве не знаете... Варвару Александровну Каурову?

– Встречал! – ответил Артемьев и густо покраснел.

– То-то и есть... Я и говорю, что бы вышло... Мне нет дела до ее там конституции с мужем, когда он плавает, а она на берегу. Но знаю, что поклонников у «великолепной Варвары» всех чинов, от мичмана до вице-адмирала, много. И скотина Нельмин еще сам хвастал...

– Он лжет! И вообще лгут на нее! Она порядочная женщина! – перебил Артемьев.

– Да вы что кипятитесь, Александр Петрович. Я... И тому подобное... Вовсе и не думал что-нибудь. И очень уважаю человека, как вы, который бережет репутацию женщины...

И тому подобное...

Алексей Иванович говорил растерянно и испуганно. Артемьеву стало жаль Алексея Ивановича.

И он сказал:

– Я уверен, что вы, Алексей Иванович, не станете чернить женщину без доказательств. Не такой же вы человек... Меня раздражил Нельмин... Скотина!..

– Отъявленная скотина!..

Капитан, конечно, уже не продолжал речи о «великолепной Варваре» («Быть может, еще родственница!» – подумал Алексей Иванович, тоже ухаживавший за ней, хотя и безуспешно) и счел своим долгом порекомендовать своему старшему офицеру команду.

– Старательная и исправная. Слава богу, не ссоримся. Крейсер в должном порядке, и до сих пор, ничего себе, все было благополучно. И офицеры исправно служат. В кают-компании нет ссор. Ну, разумеется, на берегу покучивают, развлекаются и все подобное... Что тут делать!? Только об одном прошу вас, Александр Петрович! – прибавил капитан.

– Чего прикажете, Алексей Иванович?

– Подтяните вы мичмана Непобедного и еще некоторых... Уж я делал им выговоры, грозил отдать под суд. И... черт их знает!.. Видно, не очень-то боятся меня! – сконфуженно проговорил капитан.

– А чем вы ими недовольны, Алексей Иванович?..

– Раздражают и оскорбляют матросов... Жестоко бьют... И выдумывают новые наказания... И все подобное... Против закона... И вообще... воображают... Особенно мичман Непобедный... Хлыщ и нахал!..

– Слушаю-с...

И Артемьев поднялся.

– Не забудьте сейчас достать мундир и явиться к адмиралу и адмиральше. Может быть, узнаете, пошлют ли нас в отдельное плавание на Север... Адмирал собирался...

– Все-таки лучше, чем стоять в здешних дырах!

– Зато спокойнее... Я ведь привык к спокойным стоянкам, – краснея, промолвил капитан. – Обедать прошу ко мне, Александр Петрович.

И вдруг побежал к письменному столу и принес Артемьеву два письма: одно толстое, другое потоньше.

Алексей Иванович извинился, что чуть было не запамятовал порадовать Александра Петровича вестями с родины.

Письма были получены две недели тому назад с английскою почтой.

Артемьев взглянул на два конверта и, обрадованный, сунул их в карман и прошел в кают-компанию.

Он представился всем бывшим там: двум лейтенантам, механику, доктору и иеромонаху, обменялся рукопожатиями и приказал вестовому прежнего старшего офицера открыть сундуки и достать мундир, трехуголку, эполеты и саблю.

И пошел в свою просторную, светлую каюту читать письма.

Он сперва жадно проглотил небольшое душистое письмо, полное коротких, размашистых фраз, таких же волнующих, чувственно-кокетливых, какими была вся она, и полное восклицательных знаков, словно бы усиливающих силу первого увлечения «великолепной Варвары».

Она писала о последнем прощании, когда пожертвовала всем ради его любви, и надеялась, что жертва ее не забудется милым, безумно любимым. Только он заставил ее понять настоящую любовь и отвращение к мужу... И она обещала при первой же возможности приехать в Нагасаки... Она «переговорит обо всем с мужем», вымолит развод, и тогда...

Следовал ряд восклицательных знаков и подпись: «Твоя».

Потом Артемьев, еще не успокоившийся от волнения, стал читать большое, сдержанно-любящее, дружеское и умное письмо Софьи Николаевны.

Ни одного восклицательного знака. Ни одного упрека. Ни одного звука об ее отчаянии, любви и влюбленности.

В письме Софья Николаевна больше писала о детях и умела схватить и передать их характерные черты. Извещала, что дети здоровы, часто вспоминают и говорят об отце, описывала их обычную жизнь и затем сообщала о новостях общественного характера, о новой интересной книге.

В пост-скрипту Софья Николаевна сообщила, что в последний ее обычный вечер в опере она видела двоюродного

брата Вики, только что вернувшегося из Японии с молодой, очень милой женой англичанкой, «обещали быть у меня», – да встретила в фойе Каурову, по обыкновению, элегантную, блестящую и очаровательную, и с ней Нельмина.

Кстати об этом несимпатичном карьеристе. Вики рассказывал, будто Нельмина назначают товарищем Берендеева. Это – как бы преддверие... Неужели Берендеев не раскусил этого интригана?..

Письмо жены Артемьев прочел с интересом, со спокойной радостью за близких и с каким-то невольным чувством виноватости и в то же время некоторой враждебности, именно потому, что он не мог не сознавать, какая его жена хорошая и чудная женщина.

Но, когда он прочитал пост-скрипtum, это чувство враждебности и виноватости усилилось.

Артемьев снова схватил письмо «великолепной Варвары» и стал его перечитывать.

Каждая строка, казалось, дышавшая страстью, вызывала в нем и чары ее красоты и острое, жгучее, ревнивое чувство мужчины. И он приходил теперь в бешенство при мысли о Нельмине, которого встречал у Кауровой, и напрасно гнал он от себя мысль о том, что Каурова не могла быть чьей-нибудь любовницей кроме него.

К чему тогда это письмо?.. Это признание?

– Одежда готова, вашескобродие, – доложил вестовой, входя в каюту.

– Скажи на вахте, чтобы приготовили вельбот.

– Есть!

Через четверть часа Артемьев входил в адмиральскую каюту на броненосце и, к изумлению своему, увидел только одну адмиральшу.

XI

«Однако!?» – мысленно воскликнул Артемьев при виде «начальницы» эскадры Тихого океана.

И стал мрачнее.

Он поклонился и, сделав несколько шагов, остановился у круглого стола, посередине роскошной адмиральской приемной, в почтительном отдалении от адмиральши.

Она сидела, строгая и высокомерная, в кресле у балкона, из раскрытых широких иллюминаторов которого, словно из рамок, выглядывали и сверкавший под солнцем, рябивший рейд, и голубое небо, и зеленеющий берег.

В ожидании адмирала, Артемьев нетерпеливо взглядывал на боковую дверь каюты.

Среди мертвой тишины из-за дверей вдруг донесся тихий, меланхолический храп.

«Зачем же приняли? Ведь не к адмиральше пришел являться старший офицер?» – подумал раздраженно молодой моряк.

Да он и не имеет ни малейшего желания знакомиться с этой, едва ему кивнувшей своими взбитыми кудерками, маленькой и коренастой «волшебницей Наиной» с огромными, «выкаченными», как у лягушки, глазами, неподвижно-строго устремленными на него, с крупной бородавкой на широком, слегка приплюснутом носу и с редкими черными уси-

ками на укороченной «заячьей» губе, открывающей такие ослепительно белые, сплошь безукоризненные зубы, что, казалось, они не могли быть не вставными.

Затянутая в корсет до того, что хорошенькая блузка из небеленого полотна напоминала моряку напирющий брамсель, готовый под напором засвежевшего ветра разорваться в клочки, красная, как вареный рак, – адмиральша Елизавета Григорьевна Трилистникова, рожденная княжна Печенегова, по мнению Артемьева, носила слишком снисходительную кличку «сапога».

Прошла минута-другая.

Храп из соседней комнаты переходил в мажорный тон.

Адмиральша, казалось, строже и любопытнее «выпучила» глаза на офицера, словно бы изумленная, что он, невежа, не подходит представиться ей и скорей разрешить жадное, злостное любопытство строгой и несомненно верной всю жизнь супруги.

Пикантные слухи об Артемьеве уже опередили его приезд.

Молодой офицер между тем выругал про себя, и довольно энергично, храпевшего адмирала.

Он и «скотина» за то, что женился на адмиральше, – разумеется, она и лет тридцать тому назад была такая же «противная жаба», – хотя бы у нее было и большое состояние и все сокровища мира. Он и «осел», не сумевший избавиться от адмиральши хоть бы на время плавания. Он и «позорный

трус», который только срамит и себя и службу, позволяя «бабе» командовать русской эскадрой.

«Ишь пялит на меня глаза!» – подумал старший офицер, взглянув на адмиральшу.

И, поклонившись ей, – все же дама! – повернулся и направился к выходу, чтоб ехать на «Воина».

– Попрошу вас пожаловать ко мне! – остановил Артемьева низкий и густой, слегка нетерпеливый контральто, часто бывающий у честолюбивых и очень некрасивых дам.

Молодой моряк подавил вздох и, приблизившись к адмиральше, снова наклонил голову.

С видом чуть ли не королевы адмиральша протянула надушенную руку с короткими пальцами, унизанными кольцами, поднявши ее кверху, с обычным жестом для *baisemain*³.

Артемьев еще не забыл красивых, тонких рук «великолепной Варвары», и выхоленная, пухлая и некрасивая рука адмиральши показалась ему еще противнее и словно бы «наглее» оттого, что на ней сверкали крупные брильянты, рубины и изумруды бесчисленных колец.

Он особенно деликатно пожал ее и отступил несколько шагов.

В глазах адмиральши промелькнуло изумление от такой дерзости.

Она, впрочем, не показала ни гневного чувства «начальницы эскадры» к дерзкому подчиненному, ни обычного

³ Поцелуя (франц.)

озлобления уродливой женщины к красивому человеку и любезно попросила садиться.

– Познакомимся. Можете курить! – милостиво прибавила она.

Артемьев присел. Но не закурил.

– Кажется, имею удовольствие видеть господина Артемьева, нового старшего офицера крейсера «Воин»?

«Отлично знаешь, кто я такой, из доклада с вахты. Но, верно, допрос по порядку?» – подумал молодой человек и ответил утвердительно.

– Ваше имя и отчество?

– Александр Петрович.

– А меня зовут Елизаветой Григорьевной. Сегодня пришли на «Добровольце»?

– Час тому назад.

Прошла пауза. Адмиральша помахала веером, подровняла на обеих руках кольца и не без иронически-шутливого упрека сказала:

– А я думала, что вы, Александр Петрович, удостоите представиться жене начальника эскадры и расскажете что-нибудь интересное с родины... А вы было бежать... Это нелюбезно, молодой человек.

«Начинается разнос?» – усмехнулся про себя Артемьев и сказал:

– Я не смею беспокоить вас, Елизавета Григорьевна.

– Вот как! – не то удовлетворенно, не то недоверчиво про-

тянула адмиральша.

– Я по службе, Елизавета Григорьевна... Явиться к его превосходительству.

– Пармен Степаныч отдыхает. Я ему скажу, что вы являлись. Передать ему что-нибудь надо?..

– Очень вам благодарен. Решительно ничего.

– Ведь вы, Александр Петрович, назначены сюда, конечно, Нельминым?

При имени Нельмина и слове «конечно» молодой моряк густо покраснел и с какой-то особенной силой уверенности, которою хотят обмануть себя не уверенные в чем-нибудь люди, ответил:

– Я назначен по распоряжению министра!

– И Василий Васильич лично приказал вам уехать из Петербурга через три дня?

«И это уж известно!»

– Нет-с. Начальник главного штаба сообщил мне приказание министра.

– Но отчего такая спешность, Александр Петрович? – казалось, с самым искренним участием спросила адмиральша.

Об этом напрасно раздумывал и Артемьев и до сих пор ни до чего не додумался.

– Воля начальства! – сказал он.

– Я решительно не понимаю Василия Васильевича. Он ведь добрый старик. Входит в семейное положение офицера... Сам женатый. Я еще поняла бы такие распоряжения

Нельмина... Холостяк... Любит щеголять энергией. В три дня! По правде сказать, я – не большая поклонница нового товарища министра. Несколько предосудителен этот дон-Жуан под шестьдесят...

Артемьева уже грызло подозрение.

– А ведь вы, Александр Петрович, очень не хотели к нам?

– Очень! – горячо воскликнул Артемьев.

– Ну еще бы, это так понятно. Я слышала, какая у вас прелестная и преданная жена и – без комплиментов! – какой вы, Александр Петрович, образцовый муж и отец...

«Куда это ты гнешь, ведьма? – подумал Артемьев и взглянул на нее – совсем любезно улыбается теперь лягушечьи-ми глазами. А все-таки скорей бы треснул брамсель, – и она бы ушла!» – неделикатно пожелал молодой человек, взволнованно ожидавший от адмиральши какой-нибудь любезной «пакости».

– Такие дружные, согласные пары ныне, к сожалению, редкость, – продолжала адмиральша, по-видимому, оживившаяся матримониальной темой. – Не правда ли, Александр Петрович?

«Правда, что ты одна из отвратительнейших особ для пары! Вот это правда!» – хотелось бы сказать гостю, но вместо этого он, подавая реплику, уклончиво промолвил:

– Говорят...

– К несчастью, в этом «говорят» много правды... Или муж увлечется чужой женой... или жена – чужим мужем. Да

еще, пожалуй, и каким-нибудь холостяком второй молодости в придачу, особенно если законный муж – большой философ... Никакого чувства долга... Никаких нравственных принципов... И куда мы придем!?

Но в эту минуту, щегольски одетый во все белое и в белых парусинных башмаках, молодой матрос, благообразный, чисто выбритый, с опрятными руками, видимо, с повадкой хорошо выдрессированного адмиральского вестового, остановился в нескольких шагах от адмиральши и, глядя на нее напряженными, слегка испуганными глазами, тихим и почтительным голосом доложил:

– Капитан просит позволения видеть ваше превосходительство!

– Проси!

И, обращаясь к Артемьеву, прибавила, любезно и конфиденциально понижая голос:

– A la bonne heure! ⁴ Сейчас увидите большого философа-мужа.

– Да Князьков и не женат.

– Какой Князьков?.. Я говорю про милейшего Ивана Николаича... Вы знаете Каурова? Муж недавно перевел его командиром с «Верного» на «Олега», а Князькова на «Верный».

В вошедшем видном брюнете с красивыми крупными чертами моложавого, румяного и жизнерадостного лица, с пу-

⁴ Отлично! (франц.)

шистыми усами и окладистой черной бородой, решительно нельзя было увидеть ни малейшей неловкости или затруднительности мужа «великолепной Варвары».

Он молодцевато и как-то приятно и легко нес свою крупную, полноватую фигуру в белом кителе, белых штанах и желтых башмаках, слегка почтительно наклонив коротко стриженную, крепко посаженную, круглую, черноволосую голову с жирным загорелым затылком.

Кауров крепко поцеловал руку адмиральши и с аффектацией почтительного подчиненного спросил:

– Как прикажете, ваше превосходительство... Будить адмирала?

– А что?

– Ученье... Адмирал хоть посмотрит.

– Какое в два часа?

– Минное, ваше превосходительство.

– Не беспокойте Пармена Степаныча. Делайте без него.

– Слушаю-с, ваше превосходительство!

Кауров с каким-то удовольствием и как-то «вкусно» сыпал «превосходительством».

Адмиральша указала на стоявшего Артемьева.

– Вот и новенький к нам. Знакомы?

Кауров так крепко пожал руку Артемьева и так ласково, добродушно и, казалось, чуть-чуть посмеиваясь глазами, улыбался всем лицом, что влюбленный любовник его жены невольно смутился и, казалось, готов был сейчас же изви-

ниться перед мужем и просить, чтобы он на него не сердился. Он сам понимает, как обворожительна его жена.

– Молодой человек не хотел к нам... И на меня – ни малейшего внимания. Не удостоил подойти сам. Верно, расстроен. Хандрит... По семье, конечно, – ядовито прибавила адмиральша.

Артемьев презрительно усмехнулся.

– Привыкнет, ваше превосходительство!.. Только немножко подтянуть себя... Нервы и стихнут, Александр Петрович... И я привык на положение соломенного вдовца... Вавочка обрадовала было осенью. Телеграфировала, что приедет... А на днях: «не приеду»... Ну что Вавочка? Она писала, что вы – спасибо, голубчик! – навешали ее... Здорова? Не скучает?

– Здорова... Не скучает, кажется...

– И молодец Вавочка. Честь имею кланяться, ваше превосходительство!

И Кауров снова чмокнул руку адмиральши.

Поклонился и Артемьев, собираясь уходить.

– Так и не удостоите, молодой человек, чем-нибудь интересным из Петербурга? – с насмешливой усмешкой высокомерно спросила адмиральша.

– Ничего интересного нет, Елизавета Григорьевна... А петербургские и кронштадтские сплетни, вероятно, вам хорошо известны, гораздо лучше, чем мне.

Адмиральша едва кивнула и не протянула руки.

XII

Только что Артемьев вернулся на крейсер и стал переодеваться, как капитанский вестовой Максим, такой же добродушный, веселый и суетливый, как и капитан, уже просил старшего офицера пожаловать в капитанскую каюту.

– В большом они нетерпении, ваше вашескобродие!

Через несколько минут Артемьев был у капитана.

– Ну, садитесь и рассказывайте, Александр Петрович! Как принял адмирал и тому подобное? О чем так долго беседовали, если не секрет? Идем мы на Север и тому подобное? – полный любопытства, нетерпеливо и озабоченно спрашивал Алексей Иванович, то и дело вытирая капли пота с лысины.

– Адмирал никак не принял. Храпел.

– Любит всхрапнуть... Ха-ха-ха! От переутомления... Ха-ха-ха! Бык-быком! А Марфа Посадница?

– Форменная донна Стервоза!

Алексей Иванович захохотал, как ребенок, простодушно и заразительно. И глаза стали детскими.

– Это вы ловко окрестили, Александр Петрович... Именно донна Стервоза! Испанисто «задается»... И сама она, мол, донна и ее дядюшка... Удостоился видеть... Тоже вроде гранда Свинтусино-де-ла-Пройдоха.

Видимо довольный своим дешевым остроумием, Алексей Иванович сам же весело смеялся.

– Так что же адмиральша, Александр Петрович?

– Ну и рожа, Алексей Иваныч! Куда хуже сапога... Адмирал храпит, а она у балкона... тарашит глаза... Хотел было удрать от нее... Не к ней же являться и прикладываться к ее свиным лапкам в кольцах!.. – раздраженно говорил Артемьев.

Капитан уже не хохотал. Он стал вдруг серьезен.

– Так-таки и не явились к адмиральше?.. И тому подобное?..

– Сама позвала.

– И не подошли к руке, Александр Петрович?.. – спрашивал Алексей Иванович, взглядывая на старшего офицера сконфуженными и в то же время испуганно-укоризненными глазами.

– Не подошел... Пожал руку... Да чего вы волнуетесь, Алексей Иваныч?

– А что она? Ведь все у нас обязательно целуют ее руку. И тому подобное... Нельзя... Так как же прошел этот скандал?.. Чем кончилось? По крайней мере не развели с ней? И тому подобное?.. – совсем уже подавленно спрашивал капитан.

Артемьев рассказал про свое свидание с адмиральшей и прибавил:

– Все кончилось тем, что не подала руки... И с чего вы это так волнуетесь?

– Эх, Александр Петрович!.. – вздохнул капитан. – Не все

кончилось... Только началось. И тому подобное. Она злопамятная... И теперь адмирала будет нажигать.

– И черт с ней!.. Пусть ко мне придирается!

– Ко всем, и главное – ко мне... Одни неприятности пойдут... И тому подобное. А то и законопатит нас куда-нибудь в трущобное плавание. И чего вам стоило, голубчик, подойти к ней – все-таки супруга адмирала и в некотором роде, хоть и сапог, а дама! – и приложиться к ее свиным лапам? Потешили бы ее... Мало ли какие подлые руки приходится пожимать. И тому подобное. Пожал и отошел. Так к чему из-за какой-нибудь подлой бабы наживать только беспокойство... Вы не будьте в претензии, Александр Петрович, что я позволил... И тому подобное...

И, протянув руку, капитан крепко пожал руку Артемьеву, просто и искренно сказав:

– Я – пугливая ворона, Александр Петрович. Всего боюсь. Мне бы только протянуть год – и к семье... Потом опять по летам буду отстаиваться где-нибудь в Финском заливе... А семья на даче около. Приедешь – и хорошо... Жизнь – разве беспокойство, передряги да ссоры? Ну, да, верно, уйдем и донны Стервозы не увидим!.. Как-нибудь пролетит эта история с ней!

Артемьев сказал, что он не в претензии. Ему жаль было сказать Алексею Ивановичу, что так бояться всего – ужасно.

А чем лучше его жизнь? – невольно спросил он себя, когда заперся в своей каюте и вспомнил свою службу. Он все-

гда «умывал руки», оставаясь «чистеньким», и боялся заступиться за «правду», чтобы не рискнуть благополучием и счастьем семейной жизни.

И разве не трус он перед женой?

XIII

Артемьев написал письмо «великолепной Варваре».

Это был крик страсти, злости, негодования и обиды влюбленного, ревнивого и самолюбивого животного, которого так неожиданно и скоро обмануло другое лживое, красивое и очаровательное животное, – строки, достаточно глупые для человека в том возрасте, когда отравы и слепота в любви так же обычны, как и в старые годы.

Как обыкновенно бывает, письмо вдруг оканчивалось требованием «всей правды» (да еще по телеграфу), приезда в Нагасаки, как она обещала, клятвами в любви и уверениями, что несчастная и оклеветанная Вава – прелестная женщина и, выйдя за него замуж, станет еще прелестнее.

Артемьев прочитал свое посланье, и ему стало стыдно.

«Разве есть доказательства, что она лжет? Разве слухи, подлые намеки адмиральши и гнусное хвастовство Нельмина непременно правдивы? И наконец какое у меня право – и где такое право? – оскорблять женщину, которая все-таки любила?»

Артемьев разорвал письмо свое на мелкие клочки. Он решил завтра написать, а сегодня ответить жене.

Но после нескольких строк продолжать письма Артемьев не мог. Не мог написать правды. Стыдно было и лгать.

Но он избежал того и другого, – совесть стоворчива, – на-

писал телеграмму. Напишет «бедной Соне» всю правду потом.

Несколько успокоенный, Артемьев вышел наверх, велел собрать команду во фронт, представился команде и произвел на матросов хорошее впечатление, особенно тем, что очень громко и внятно сказал, что закон не разрешает бить и употреблять какие-нибудь наказания, в законе не указанные.

Еще большее впечатление произвел новый старший офицер на жадно слушающих его матросов тем, что разрешил обращаться к нему с жалобами, если кто-нибудь будет незаконно наказан.

Распустив команду, Артемьев вместе с боцманами осмотрел крейсер и нашел, что старшему офицеру придется много поработать, чтобы крейсер был в порядке.

- Грязновато там, где не на виду! – говорил он боцманам.
- Это точно, ваше благородие! – соглашались оба.
- Так отчего же эта грязь?..
- Не требовал прежний старший офицер!
- А я буду требовать!

В тот же вечер «новый» нечаянно услышал, что оба боцмана посмеивались над ним, уверенные, что он только сначала «хорохорится», и заметил, что в кают-компании с ним все были сдержанны и сухи.

А Непобедный рассказывал о каких-то новых порядках, которые завел на каком-то острове какой-то Дон-Кихот.

«Пробуют», – подумал Артемьев и не обратил ни малей-

шего внимания.

Часов в девять он съехал на берег. Отправил телеграмму и зашел в ресторан одного из лучших отелей.

Он сел за столик, лениво отхлебывал портер и, мрачный, поглядывал на публику, как вдруг к нему подошел в статском платье Кауров. Он был несколько красен, но не пьян.

– Позвольте на минуту подсесть, Александр Петрович?

– Пожалуйста, Иван Николаич!

И Артемьев как-то виновато и ласково улыбнулся. А Кауров, посмеиваясь, рассказывал:

– За обедом Марфа Посадница жаловалась адмиралу на вас. Еще бы! Не прикладывались к ручке... Не титуловали... За ее пакостные намеки называли сплетницей. Хвалю... Она и насчет этого прошлась... да и обо всех ваших поступках «вообще». Гости... А, верно, уж было накаливание а part ⁵... Так вы имейте в виду и завтра подтяните крейсер... Приедет адмирал и будет придирааться. Ну, а вам, Александр Петрович, «пофартило». Послезавтра уйдете от адмиральши в крейсерство на Север. Это не наш адмирал придумал... Берендеев приказал из Петербурга.

– Очень вам благодарен, Иван Николаич... Не угодно ли стакан портера?

– Стакан... я уже порядочно выпил этих стаканов... а впрочем...

Кауров пригубил стакан и сказал:

⁵ Усиленное (франц.)

– А я ведь, Александр Петрович, собственно говоря, не для этого предупреждения подсел к вам...

У Артемьева екнуло сердце.

– Моя Вавочка вас того... приоболванила? Втемяшились?

– Да, Иван Николаич!

– И шлем без козырей?

– Вроде этого...

– Вавочка умеет. Без этого скучно... Особенно если сама увлечется... А вы, слава богу... чего лучше мужчина! Разумеется, для вас первого она пожертвовала супружеским долгом и познала настоящую любовь... и, верно, развода хочет с постылым Иваном Николаичем и с вашей Софией Николаевной... одним словом, роман... Но только вы этому не верьте... Когда она вам говорила или писала – она верила. А затем... Много было этих первых жертв... знаете ли, по привычке, как боцмана прежде ругались... Ну, и интереснее каждому любовнику быть первым... Но... на кой черт ей бросать мужа?.. Содержание ничего себе... Вернется, и ему хватит. И не приедет она в Нагасаки. И вы, милый человек, не впадайте в меланхолию... Я вот давно привык... Ничего не подделаешь... Есть же такие женщины... большого сердца... Верьте, не приедет сюда... И знаете ли почему?

– Почему?

– Вавочка теперь подковывает Нельмина... Того и гляди, еще женит на себе... Ну, будьте здоровы, Александр Петрович.

С этими словами Кауров ушел.

XIV

– Здорово, молодцы!

Адмирал крикнул свое приветствие громко, отрывисто и щеголевато весело, видимо уверенный, что одно появление его обрадует команду крейсера «Воин», выстроенную во фронт, в это погожее солнечное утро на рейде Нагасаки. Даже и немногие немолодцы немедленно станут молодцами после этого подбадривающего оклика во всю силу густого, зычного голоса.

Он обходил фронт решительной походкой и взглядывал на матросов орлом, приподняв голову в белой фуражке с большим козырьком, к которому по временам прикладывал три пальца своей громадной белой руки.

Огромного роста, атлетического сложения, с крупными чертами моложавого и еще очень красивого, свежего и румяного лица, с большой окладистой русой бородой, Пармен Степанович Трилистников имел необыкновенно мужественный, молодецкий вид энергичного, властного адмирала.

При виде его никто и не подумал бы, что он находится в позорном повиновении адмиральше, трусит ее и с большим апломбом повторяет ее слова, считая их собственными.

Матросы рявкнули, словно оглашенные, как один: «Здравия желаем, ваше превосходительство», но в энергическом и отрывистом вскрике ста шестидесяти человек только слы-

шалось: «рааар, двааа, ство!»

И напряженно выпученные глаза их так впились в адмиральское лицо, точно действительно хотели съесть его от радости – до того хорошо были выучены матросы «Воина» встречать и провожать начальника эскадры.

Адмирал был доволен от произведенного им впечатления. Недаром же, здороваясь с матросами, он называет их молодцами. Но не на всех судах его эскадры так восторженно вскрикивают.

Адмирал даже забыл в эту минуту, о чем наказывала ему адмиральша; он не хмурил бровей и не делал глубокомысленно-глупых глаз. И, словно бы желая осчастливить и капитана, который как шарик катался за величественной фигурой его превосходительства, адмирал, полуотвернувшись, сказал капитану на ходу:

– Молодцы у вас, Алексей Иваныч...

– Точно так, ваше превосходительство. Молодцы!

– Главное: дух, Алексей Иваныч!.. Дух-с!

Сопровождаемый капитаном, старшим офицером и молодым мичманом, адмиральским флаг-офицером, адмирал спустился вниз осматривать крейсер.

Матросам скомандовали разойтись.

Все молодые, приодетые в чистые рубахи и штаны, с новыми фуражками на головах и более тщательно вымытые, подстриженные и побритые по случаю «внезапного» посещения адмирала, обыкновенно узнаваемого на судах эскадры нака-

нуне, матросы разбились по кучкам на баке.

По обыкновению, разговоры начали с адмирала, которого уже давно не видали на крейсере и которого матросы на эскадре прозвали фамильярной и, казалось, совсем несоответственной здоровенному и мужественному виду адмирала, кличкой «Пармешеньки».

Придумал эту кличку рулевой Векшин.

Пустивши ее, он объяснил на баке, что услышал кличку на берегу от ребят с «Олега». И никто, конечно, не сомневался.

Это был смирный, тихий и усердный чернявый матросик, худощавый и невзрачный, с едва уловимым лукавством в блеске его сторожких карих глаз и необыкновенно боязливый перед начальством. Вел он себя, как сам говорил: «очень аккуратно, чтобы не вышло каких-нибудь неприятностей».

И в то же время Векшин любил пофилософствовать, и предпочтительно насчет порядков на службе и начальства. Трусил, как заяц, всяких «неприятностей», даже малодушно лебезил – и все-таки предавался мечтаниям и на начальстве изощрял свою выдумку на клички, предоставляя славу авторства кому-то неизвестному. Но зато про себя радовался, что прозвища господ нравятся на баке и разносятся по судам эскадры. И он удовлетвореннее мурлыкал какую-то песенку, вдумчиво поглядывая на бездонное небо.

Только с своим закадычным другом, марсовым Бабушкиным, делился Векшин своими, как он выражался, «загвоздками», которые лезли в его беспокойную душу. Но даже и

другу не признавался в выдумке.

И теперь, когда начальство было внизу, Векшин подошел к Бабушкину и, оглядевшись, где боцман, спросил, понижая голос:

– Видел?

– А что?

– Слепые вы все разве?.. Ведь вовсе полагает о себе, быдто и взаправду «орел»... И форц-то какой...

– И диковина, братец ты мой! Обмозгуй-ка.

– Про что, Нил?

– Такой ахтителный бык и позволяет помыкать собой бабе... Хучь бы молодой... А то... «пучеглазая ведьма»!.. Как это понять?

– И очень даже пойми... «Пучеглазая» недаром у нас за адмирала. Она мужчинского характера и с умом и с амбицией... В строгости держит своего «Бык-Быкыча», даром что с лица не лестней акул-рыбы... Чуть что – и по заливку... Не смей бунтовать. Я, мол, княжеского рода и богатеющая шла за тебя... А окромя бычьего твоего вида никакой, мол, у тебя амуниции. Адмиральский вестовой обсказывал, как «Пучеглазая» его учит. Я, мол, с большим понятием, а тебе, говорит, милуше, богом отпущено в обрез только, говорит, едва хватит для лейтенантского звания. Ты, говорит, из-за меня и в адмиралы вышел... Показывай себя, какой ты у меня «тамбурмажористый» человек, а говорить не говори... Только похвали или поругай. И кушай, говорит, до отвала,

какую хочешь скусную пищу, дуё, говорит, самые дорогие вина, играй в карты, одно слово... Денег, говорит, у меня много, и дом у меня в Петербурге – вроде быдто дворца... Знай пользуйся – и только чтобы находился в постоянном моем повиновении и состоял, говорит, при своей верной супруге в самом полном законе. Чтобы никаких подлостей... И что бы, говорит, вышло без меня из такого статуя?

– Что ж он?

– Что ж ему? Знает, мол, «Пучеглазую», молчит. И какая ему жизнь без нее?.. И какой ему ход?.. И опять: уж зазнался в богатстве, что вошь в коросте... Как-никак, а все-таки – надо правду сказать, – «добер», если бы не «пучеглазая». То-то и пойми, братец ты мой! – закончил Векшин, завидя подходившего боцмана.

Нечего и говорить, что Векшин, передавая слова адмиральского вестового, пользовался ими как канвой, на которой рисовал узоры своей фантазии. Но как бы то ни было, хотя бы адмиральша в действительности и не «учила» адмирала так, как рассказывал Векшин, но его выдумка не лишена была художественной правды и отвечала потребности возмущенного и трусливого сердца.

Тем временем адмирал заглянул на кубрик, в машинное отделение и в лазаретную каюту. Там адмирал подбодрил чухоточного умирающего матроса тем же окриком: «Здорово, молодец!» и, поднявшись наверх, взошел на мостик и приказал забить артиллерийскую тревогу.

Артиллерийским учением смотр и окончился.

Адмирал поблагодарил капитана за порядок на крейсере, за учење и за то, что матросы – молодцы.

– С такими молодцами... Вы понимаете, Алексей Иванович?

Капитан ответил, что вполне понимает.

Тогда адмирал приказал завтра сняться с якоря и не без торжественности прибавил:

– Посылаю вас в крейсерство на Север...

– Слушаю-с, ваше превосходительство! – далеко не весело ответил капитан.

– Цель назначения...

Адмирал, верно, вспомнил наказ адмиральши не особенно много говорить и знал, что инструкция прислана из морского министерства, и надо только переписать ее. И, не докончив объяснения, продолжал:

– Прошу пожаловать сегодня ко мне обедать, Алексей Иванович... Вы получите инструкцию, и я вам объясню, что надо... Верно, надоело отстаиваться на якоре?

Алексей Иванович должен был сказать, что надоело...

Адмирал заметил, что он и раньше бы послал Алексея Ивановича, но надобно было ждать нового старшего офицера.

С Артемьевым адмирал еще не сказал ни слова. Он только пожал ему руку при встрече.

И теперь он любопытно взглядывал на него, стоявшего

в нескольких шагах на мостике, как распорядителя «аврала», и на лице адмирала, казалось, было что-то смущенное и нерешительное.

Но приказание «адмиральши» разнести Артемьева было категорическое, и добродушие адмирала не смело спорить против привычного послушания.

Вдобавок он вспомнил, что «умница Бетси» высказала весьма основательные причины высшего соображения, требующие строгого выговора начальника эскадры старшему офицеру. Припомнил и несколько раз повторенные адмиральшей слова, которые, верно, «энергичный Парм» (так звала наедине адмиральша Пармена Степановича) захочет сказать Артемьеву...

И брови адмирала вдруг нахмурились, а лицо приняло глубокомысленно-серьезный вид.

Адмирал спустился в капитанскую каюту.

– Прикажите, Алексей Иванович, послать ко мне старшего офицера.

Капитан поднялся наверх и встревоженно шепнул Артемьеву:

– Идите к адмиралу, Александр Петрович. Главное, не перебивайте его и тому подобное...

XV

Ни в позе, ни в лице Артемьева не было ни преувеличенной почтительности, ни открытого радостного выражения, ни «приятной» боязливости, одним словом, не было того, что особенно нравилось в подчиненном Трилистникову, как и многим начальникам...

В официальной сдержанности и в спокойствии старшего офицера адмиралу, «подвинченному» адмиральшей, уже показалось что-то независимое и даже дерзкое.

«Того и гляди, нарвешься на дерзость», – подумал Пармен Степанович.

Вот почему адмирал не решился «разнести вдребезги» Артемьева, как обещал своей Бетси. Трилистников, хоть и имел вид нахохлившегося петуха, но не особенно повысил голос, когда значительно и серьезно начал:

– До моего сведения дошло, что вы, господин Артемьев, почему-то нашли нужным... да-с, нашли уместным... обратиться с речью к нижним чинам... Вы особенно старались... именно особенно старались... разъяснить им их права и...

Адмирал на секунду остановился и наморщил лоб, словно припоминая хорошо выученный урок.

– Старший офицер обязан поддерживать дисциплину... возбуждает дух матросов, а не... не восстанавливать их против офицеров. Такие речи...

– Позвольте, ваше превосходительство! – перебил Артемьев, возмущенный таким нелепым обвинением.

– Прошу не перебивать-с! – воскликнул адмирал.

И смолк, точно потерял окончание строгого выговора, подсказанное адмиральшей.

Сконфуженный и, казалось, струсивший, он еще более хмурил брови и старался принять еще более глубокомысленный вид человека, придумывающего что-то умное и значительное.

Так прошла долгая пауза.

Наконец Пармен Степанович, еще более понижая голос, проговорил свою импровизацию:

– Именно высшие соображения вынуждают меня обратиться ваше серьезное внимание на дисциплину. Надо поддерживать наш русский дух. Внушать матросу беспредельное доверие к начальству... А между тем русский моряк – и приказываете нижним чинам жаловаться из-за всякого пустяка... Прошу вас не вводить новых порядков... Прошу и приказываю! Можете теперь дать объяснение...

– Я буду просить ваше превосходительство назначить форменное следствие...

Адмирал не ждал такой реплики.

– Как? Что-с? Зачем-с? – с изумлением и растерянностью спросил он.

– Если обвинения вашего превосходительства подтвердятся, я должен быть предан суду...

– Да что вы, Александр Петрович. Какой суд!.. Я хотел потечески, келейно предупредить... Понимаете... Эти сведения...

– Это – просто скверные сплетни, ваше превосходительство... И на основании их ваше превосходительство делаете выговор... Прошу следствия.

Пармен Степанович сообразил, что сведения, полученные Бетси, в самом деле могут быть неверными. Дойдет до Берендеева... Скандал...

Адмирал совсем струсил. И почти заискивающе сказал:

– Ну, что вы, Александр Петрович. Ну, положим, погорячился... Так прошу, Александр Петрович, извинить...

«А ну тебя к черту!» – подумал Артемьев, взглядывая на испуганное лицо Трилистникова. И тотчас же поймал себя на малодушии и трусливости, когда сказал:

– Извольте. Я не подниму истории, ваше превосходительство!

– И отлично!.. К чему скандал? Прошу, Александр Петрович, забыть выговор... Я был введен в заблуждение... Понимаете ли... Его как бы не было! – говорил Трилистников, протягивая руку.

Он крикнул вестового и велел ему попросить капитана.

– Вот, Алексей Иваныч, и разъяснилось недоразумение с Александром Петровичем. Он вполне убедил меня, что у вас превосходный старший офицер...

С этими словами все они вышли наверх.

Снова команда и офицеры были во фронте. Снова адмирал «с шиком» благодарил «молодцов», благодарил капитана, старшего офицера и офицеров, и уехал на «Олег».

– Видно, не перебивали адмирала, Александр Петрович? – весело спрашивал капитан.

– Нет... И хороши эти сплетники, которые подслуживаются адмиральшам!

– А что?

Артемьев рассказал о выговоре адмирала.

Возмутился и Алексей Иванович. А все-таки обрадовался, что все так «благополучно окончилось».

– А, конечно, насплетничал Непобедный. Он первый сплетник при Марфе Посаднице. Еще вчера вечером ездил на «Олег». Значит, к адмиральше.

– Не сомневаюсь. Он и аллегорию разводил насчет меня в кают-компании. Хорош фрукт! Ну и нравы, Алексей Иванович! – промолвил Артемьев.

Он чувствовал себя отвратительно.

В то же время адмиральша спрашивала мужа в его кабинете:

– Ну что, Парм?

– Разнес, Бетси.

– А он?

– Он... Он оправдывался. Говорил, что все сплетни...

– А ты?

– Ну, конечно...

– Что конечно?

– Оборвал...

– А он?

– Он... Он, Бетси, кажется, не так виноват...

– Это почему?

– Обиделся... Прошу, говорит, формального следствия...

– Ну?..

– Ну, к чему следствие. Я... я... сказал, что если захочу,

то прикажу назначить следствие.

– И ты еще извинился, пожалуй.

– Ничего подобного. И знаешь ли что, Бетси?

– Что?

– Не наврал ли Непобедный про речь?..

– А знаешь, что я тебе скажу, Пармен Степаныч?

– Что, Бетси? – смущенно спросил адмирал, словно бы заранее ожидая неприятности.

– Ты – дурак.

– Вот ты всегда недовольна. И непременно скажешь неприятность.

– Да как же!? – раздраженно воскликнула Елизавета Григорьевна. И, понижая голос, чтобы никто не слышал ее «бенефисов», она продолжала: – Невежа Артемьев преднамеренно оскорбил твою жену, жену своего начальника. Ты знаешь?.. Я не хотела, чтобы ты за это преследовал его. Но его во всяком случае неприличная речь матросам требовала строгого выговора. Ты, кажется, вполне со мною согласился.

Непобедный не мог так наврать. И ты даже не сумел сделать выговора. Я-то стараюсь. Облегчаю тебя. А ты?.. Хорош адмирал!.. Где с ним говорил?..

– В капитанской каюте.

– И дурак!.. Нужно было разнести наверху. Он не осмелился бы отвечать. Ну, скажи, – ты извинился?.. Струсил?

– Стану я извиняться! – не без отваги отчаяния врал Пармен Степанович.

– Ну, то-то!.. – И, несколько успокоенная, адмиральша проговорила: – По крайней мере Артемьева не будет, уйдет завтра, и мы не будем видеть этого дерзкого невежу. Ну, идем завтракать. Достала консервованных грибов у консула. Привезли из России. Будут жареные в сметане. Ведь любишь?..

Адмирал просветлел и от окончания бенефиса и от грибов, и, целуя руку жены, сказал с добродушием довольного человека:

– Умница ты, Бетси... У, какая умница! Тебя бы назначить министром!

XVI

Через два дня «Воин» вошел в Тихий океан, направляясь в негостеприимное Берингово море, куда посылало высшее морское начальство.

Давно уже американцы и другие иностранцы охотились за морским зверем у наших берегов, нарушая договоры, по которым охота за морским зверем допускалась в десяти милях от побережья наших северных морей (Охотского и Берингова) и в тридцати от Командорских островов, где особенно было много драгоценных котиков.

Нерегулярно посылались военные суда для охраны берегов. Котики безжалостно уничтожались иностранцами. Драгоценный зверь уменьшался. Изредка появлялись в русских газетах статьи о бессовестном разбойничьем поведении иностранных китобоев и шкун.

И несколько лет до посылки «Воина» в крейсерство появилась военная шкуна у Командорских островов.

Капитан ее наводил страх на капитанов «купцов», занимавшихся ловлей котиков на нашей зоне. Бдительный моряк взял, как призы, две американские шкуны и послал несколько ядер вдогонку убегающему под всеми парусами клиперу, нагруженному драгоценным зверем.

Цена на котиков сильно повысилась на бирже Сан-Франциско и на биржах во многих портах Дальнего Востока.

И вдруг, совершенно случайно, прежний начальник эскадры Тихого океана прочел в английской шанхайской газете нечто невероятное.

В статье рассказывалось, что на днях пришли две шкуны с полным грузом котика, проданного дешевле рыночной цены. Груз принадлежал по документам какому-то русскому купцу. Но будто в действительности принадлежал капитану того военного судна, которое охраняет ловлю котиков от иностранцев. И затем шли довольно пикантные подробности о том, как ведется торговля, которой занимаются русские агенты, строго оберегающие промысел от иностранцев.

Адмирал, разумеется, не поверил такому позорному обвинению.

Но правдоподобие подробностей всего этого «трюка» заставило адмирала послать вырезку из английской газеты местному начальнику во Владивосток.

Адмирал ответил другому адмиралу конфиденциальным письмом.

Разумеется, англичане и американцы – не даром «торгаши и разбойники». Они из мести оклеветали русских моряков. Если бы было что-нибудь подобное, то, конечно, до адмирала дошли бы слухи.

А между тем во Владивостоке, не стесняясь, говорили в клубе о торговых операциях с котиками, о какой-то «стачке» и называли людей, хорошо заработавших на котиках во время охраны их ловли от иностранцев.

Когда начальник эскадры зашел во Владивосток, местный адмирал снова ничего не слышал, а пришедший в тот же день узнал про баснословные слухи.

И неожиданно пришел на корвете на Командорские острова.

Он велел шкуне вернуться во Владивосток и написал в Петербург такое донесение, что тогдашний морской министр только ахнул.

Он был уверен, что в других ведомствах возможны злоупотребления, но в его – немыслимы сколько-нибудь серьезные. Недаром же он все знает, все видит и своевременными мерами уничтожает в начале.

А между тем...

Адмирал-министр только энергично выругался, как боцман старых времен, разрешавший руганью все вопросы, сомнения и неожиданности, приказал произвести строжайшее следствие и конфиденциально написал, чтобы «ради чести России и флота» делу не придавали огласки и не привлекали к суду лиц, прежде прикосновенных к позорной торговле котиками. Судить только командира и офицеров шкуны.

Они были судимы и сосланы в Сибирь. Некоторым прикосновенным предложили подать в отставку. Местный адмирал получил другое назначение. Все прошло тихо, келейно. Сору из избы вынесено не было, и можно было говорить, что одна паршивая овца может найтись в самом лучшем стаде.

XVII

Океан с первого же дня встретил «Воина» неприветливо.

Матросы старались коротать вахты разговорами, особенно по холодным северным ночам в океане, когда в своих буршлатах, поверх синих рубах, жались друг к другу, словно лошади в табунке, у своих снастей или на марсах, озябшие и невольно испуганные «погодой».

Упорно сильный и порою порывистый холодный ветер гудел и стонал в снастях, мачтах, по задраенным люкам и закрепленным по-походному орудиям. Он слегка гнул стенки и выпирал, словно бы готовый изорвать в лоскутья, марсель в три рифа, с зарифленными фоком и стакселем, под которыми бежал крейсер «Воин» в «бакштаг» узлов по десяти-одиннадцати. Он раскачивался, стремительно ложась на бок и касаясь вершук волн то одним, то другим лагом, и зарывался носом в пенящуюся воду, чтобы снова подняться высоко, отряхиваясь, словно птица, от водяных струй.

Рокотал и седой океан своими могучими волнами, которые бешено бились одна о другую и нападали на трехмачтовый клипер. Казалось, вот-вот эти водяные горы обрушатся на опустившуюся корму.

Но в ту же секунду уж корма поднималась, гора сзади опускалась, чтобы снова вздуться новой волной-горой.

Многим матросам было жутко.

Но прошел день-другой. «Воин» так же раскачивался и бежал, ускальзывая от волн. Капитан и старший офицер, по очереди стоявшие на мостике вместе с вахтенными офицерами, казалось, не обнаруживали тревоги. Не был особенно озабочен и старший штурман. По-прежнему был молодчага «мичманенок», как звали матросы любимого ими мичмана Ариаднина.

И, недавно еще оторванные от земли, не любившие моря с его ужасами, особенно страшными для сухопутного человека, матросы покорно смирились, уверенные, что океан только пугает.

Но все-таки старались не смотреть на этот седой, безграничный, ревущий нескончаемым гулом океан, необыкновенно красивый в своем грозном величии мощи и для многих ненавистный.

И в кучках «лясничали», словно бы нарочно выбирая такие темы, которые отвлекали от действительности морской жизни, полной опасности и часто напоминающей о смерти людям, которым жить хочется.

Говорили о «домашности», о своих местах, о Кронштадте, про берег, на котором бывали в Европе и Азии, сравнивали порядки у «них» и у «нас», вызывавшие споры. Ожидавшие отставки рассказывали о своих планах будущей жизни.

Ни один даже из лучших марсовых и не подумал о поступлении на купеческое судно, чтобы идти в море. Только двое поморов решили снова «заниматься рыбой» на Мурмане.

не. Далеко не все думали вернуться к земле. Многие, особенно непьющие и усердные по службе, мечтали вслух о местах швейцара и старшего дворника в Петербурге. Решительно вся «вестовщина» питала надежды на поступление в лакеи в хороший дом и на хорошее жалованье. И старший боцман Адриан Иванович Рыжий, безукоризненный исполнитель, умевший быстро понимать и приспособляться, сдержанный, ровный и мягкий, видимо знающий себе цену, человек лет тридцати, с маленькими быстрыми глазами, светившимися умом, уже заручился обещанием мичмана Непобедного устроить его в Петербурге городовым или жандармом.

Его матросы уважали и слегка побаивались.

Один только рулевой Векшин терпеть не мог боцмана, боялся его больше всего начальства и про себя называл Рыжего за его удлиненное худощавое лицо хорьком. И, словно бы объясняя, почему он не любит боцмана, Векшин под строгим секретом рассказывал Бабушкину, что Рыжий выгнал из своей квартиры отца, отставного старого боцмана, за то, что отец выпивает, ругается и будто бы только может «оконфузить» сына.

– Хорек и есть! – прибавлял негодующим шепотом Векшин.

XVIII

Настроение кают-компания «Воина» было невеселое.

Никому не улыбалось после долгих стоянок и развлечений на берегу крейсерство в негостеприимном Беринговом море с беспокойными вахтами, скукой, без писем и газет, без свежей провизии, которой не достанешь в поселках и на островах. Разве только рыбу. Кроме двух-трех человек, никто не любил и не чувствовал моря с его разнообразными и сильными впечатлениями. Служба была неприятной повинностью. Большая часть моряков рвалась в Россию, предпочитая «выплаывать ценз» в течение трех-четырех месяцев стоянок и прогулок в Финском заливе, чем три года подряд в дальнем плавании с океанскими переходами и штормами, и делать дело, и притом опасное, которое далеко не по душе и не обещает ни быстрой карьеры, ни денег.

Недовольные собрались к обеду шестнадцать человек офицеров, доктор и батюшка.

Качало сильно, и вестовые, разносившие тарелки с супом, выписывали вензеля. Есть его приходилось со сноровкой.

Когда суп благополучно был съеден, на разных концах стола раздались раздражительные замечания о предстоящем плавании.

– Зато, господа, купим дешево котиков на Командорских островах! – заметил старший механик, аккуратный и расчет-

ливый человек, с приобретательными наклонностями, любивший везде покупать солидные вещи для обстановки и для основательных, как он говорил, подарков для своей положительной супруги.

По этому поводу вспомнили о старой «котиковой» истории.

Большая часть офицеров, обрадованная интересной темой, с большим негодованием бранила осужденных моряков.

Из этих обвинений выходило, что несколько попавшихся моряков были исключительно редкими, бессовестными и дурными людьми во флоте, оттого только и могло явиться такое беспримерно позорное дело. Казалось, что негодующие моряки никогда и не думали об условиях, которые создают и даже поощряют людей быть дурными и нехорошими.

Особенно беспощаден был первый лейтенант Николай Николаевич Буйволов, добродушный и ленивый человек лет за тридцать, который особенно гордился старой дворянской фамилией «Буйволовых», ведущих род будто бы от Тохтамыша, и верил в прирожденную дворянскую доблесть так же непоколебимо, как и в то, что выигрывал в Петербурге в макао только тогда, когда его жена перед игрой крестила обе его ладони.

Он находил, что наказание виновных было слишком милостиво.

– Таких мерзавцев следовало бы расстрелять! – пробасил

Буйволов.

– И Сибирь... благодарю, Николай Николаич... – протянул ревизор, пригожий молодой лейтенант, вполне уверенный, что проценты со счетов поставщиков – обычное право порядочного человека.

– Мог бы, кажется, подумать об ответственности! – основательно промолвил старший механик. И прибавил, скрывая зависть: – Смелость-то какая... В год тридцать тысяч долларов чистоганом! По курсу шестьдесят тысяч!

Непобедный, уже не смевший при новом старшем офицере бить матросов, особенно горячо заговорил о чести мундира.

Старший офицер не вмешивался в разговор. Помалчивали и доктор Федор Федорович, маленький тщедушный доктор, – любитель-художник, восхищавшийся морем и отрицавший медицину, – и пожилой старший штурманский офицер Иван Семенович, осторожно сторонившийся от Непобедного и двух его приятелей, одного мичмана и младшего механика, которые восхищались богатым «аристократическим сынком» и кутили на его счет.

Все трое невольно переглянулись во время речи Непобедного, и в их глазах промелькнули брезгливые улыбки. И они снова уткнули свои лица в тарелки, словно бы не желая слушать эти разговоры.

Но мичман Ариаднин бросил есть и слушал.

Это был долговязый юный брюнет, с близорукими боль-

шими глазами, обыкновенно не принимавший участия в разговорах. Он был изобретатель и с упорством маньяка весь отдавался своей *idée-fixe* – о необыкновенной подводной лодке, которая могла бы уничтожать сразу целую эскадру, хотя сам, необыкновенно добрый и не воинственный, считал войны отвратительным варварством. Кроме этого он был страстный игрок и на днях проиграл в Нагасаки все деньги, которые были, и еще жалованье за полгода вперед.

Он вспыхивал и жмурил глаза, точно от боли, взволнованный и, видимо, не решавшийся заговорить.

Вдруг он «дернул» стакан бордо, хотя никогда не пил вина, и, застенчиво краснея, воскликнул:

– Господа!.. Одного, что ли, нужно расстрелять, если только расстрел что-нибудь изменит... Я не согласен на это... Нет! А главное: сами-то мы каковы?.. А ведь «бичуем маленьких воришек для удовольствия больших»!

На секунду воцарилось молчание.

– И выпалил изобретатель! Так и спросили вашего согласия! – заметил ревизор.

– Вы, мичманенок, дичь несете. А дворянская честь!.. Честь мундира! – пробасил Буйволов.

– Скажите, пожалуйста, какой благородный цензор нравов, дующийся в карты! Толстого, что ли, начитались? Или хотите поразить оригинальным пониманием чести мундира? – сказал Непобедный.

Эти слова вывели из себя добродушного «мичманенка»,

и не потому, что дышали высокомерием и произнесены были наглым, злым тоном, а только потому, что сказал их ему Непобедный, еще смевавший говорить о чести мундира.

Ариаднину был несимпатичен Непобедный, и они почти не говорили друг с другом. Но долговязый мичман не мог и подумать, чтобы Непобедный был наушником адмиральши и так подло оклеветал старшего офицера.

Об этом Ариаднин узнал накануне ухода из Нагасаки от флаг-офицера.

Старший офицер уже хотел остановить эти разговоры, принимавшие благодаря возмущенному «мичманенку» резкий характер, как Ариаднин, побелевший как воротничок его сорочки, полный негодования, вызывающе крикнул, обращаясь к Непобедному:

– А наушничество вы считаете честью мундира?

– Прошу прекратить споры, Сергей Алексеич! И вас прошу, Евгений Викторович!

Голос старшего офицера звучал строго, а глаза его так ласково глядели на «мичманенка».

И маленький доктор и старший штурман сочувственно ему улыбнулись.

Непобедный еще выше и высокомернее поднял свою красивую голову. Совсем побелевшие тонкие губы искривились в презрительную улыбку. Словно бы не понявший этого вопроса, он удивленно пожал плечами и ничего не ответил.

А сердце в нем упало, как у трусливого человека, пойман-

ного в подлости.

В кают-компании воцарилась напряженная тишина. Все прислушивались к гулу, доносившемуся сверху через закрытый люк.

После обеда все быстро разошлись по своим каютам.

Непобедный лег в койку и пробовал заснуть, но сна не было. И он упорно смотрел на толстый матовый иллюминатор, который то мгновенно исчезал в воде, то снова выскакивал и летел вверх, обдаваемый кипевшей волной.

В полусвете маленькой каюты и раздрающий скрип переборок, и стремительность размахов, и гул, долетающий сверху, казались в одиночестве Непобедному гораздо страшнее.

Он еще не испытал такой качки и боялся моря.

Когда крейсер валился на бок и на мгновение останавливался, словно бы раздумывая, подниматься или идти ко дну, эти мгновения были для Непобедного бесконечными.

Ужас охватывал его. Он закрывал глаза, крестился, вспоминая бога, и в то же время не верил, что бог поможет.

И когда крейсер поднимался, чтобы лечь на другой бок, Непобедный в бессильной злости думал:

«Какой я дурак, что не остался по болезни в Нагасаки и не попросил адмиральшу, чтобы мне разрешили вернуться в Россию».

Он непременно выйдет в отставку.

XIX

Барометр падал. Низкие клочковатые и черные тучи стремительно неслись, облагая небо. Ветер крепчал.

Капитан и старший офицер по очереди стояли наверху, сменяясь друг с другом. Часто поднимался и старший штурман Иван Семенович. Он обглядывал горизонт напряженно и строго, словно бы недовольный океаном и небом, которое уже несколько дней не показывает солнца, и Иван Семенович не уверен в точности места «Воина» по счислению.

Алексей Иванович был в дохе, валенках и меховой шапке.

Чтобы не быть сброшенным в океан, Алексей Иванович вцепился руками в поручни мостика, который стремительно раскачивался над океаном. Капитан глядел перед собой устало, неуверенный в себе, без подъема духа и той нервной возбужденности, которую испытывают заправские моряки в бурную погоду.

Океан невольно смущал Алексея Ивановича. Он не любил сильных ощущений и хотел, чтобы и в океане, как и на берегу, все было «благополучно», без неприятностей и тому подобного. Он боялся ответственности перед совестью за людей и перед начальством, и не скрывал от себя, что он – не моряк и не такой капитан, какой должен быть. И Алексей Иванович без горделивости смотрел, как дерзко несется, убегая от волн, трехмачтовый крейсер. Он не привязан

к нему и не верит ему, как часто привязываются к своим судам и верят им страстные моряки. Напротив! «Воин» кажется Алексею Ивановичу каким-то маленьким, затерянным и жалким среди бушующих водяных гор. И Алексей Иванович слышит, что ветер крепчает, океан грохочет грознее, и понимает, что «Воину» предстоит жесточайший шторм.

«Разумеется, он не покажет перед людьми ни малодушия, ни страха!»

Так бодрит себя Алексей Иванович и часа по четыре не сходит с мостика, считая долгом честного человека показывать подчиненным пример неустрашимости, спокойствия и решительности, которых не имел.

Зазябший на ледяном ветре, уставший, с измотавшими нервами, взглядывает Алексей Иванович на беснующийся океан, на черный горизонт, на зловещие облака, и в голову его чаще и чаще особенно ярко-тоскливо закрадываются мысли о далеком родном «береге».

Алексей Иванович не вспомнил теперь, как ласково и упорно точила его горделиво-верная и назойливо-добросовестная жена «Нюнюша», особенно после пятнадцати лет супружества. Она зудила за «все», а главное – за то, что они живут совсем не так хорошо, как другие, и бедные дети лишены всего, – нельзя даже иногда купить новые башмаки. О себе она уж не говорят. Пусть себе ходит почти оборванная. Надо подумать о семье. Надо же избавиться от долгов и попроситься командиром в дальнейшее плавание, если начальство

забыло. Тогда можно было бы всем вздохнуть.

Хотя Алексей Иванович нередко вздыхал в дальнем плавании, но, разумеется, забыл супружеские шипы. И ему кажется в эти минуты, что его жена, моложавая и, по обыкновению не оборванная, необыкновенно любящая, заботливая, добрая и деликатная Нюнюша, тоскующая в одиночестве, – идеал чудной жены, да еще моряка! Пятеро прелестных детей – и все в крепких башмаках – кажутся ему еще любимее и милее. Квартира в Кронштадте уютнее, теплее и больше. Одним словом, «дом» представляется раем.

К капитану подошел вплотную старший офицер на смену и, схватываясь за поручень, сказал:

– Идите скорее греться, Алексей Иванович.

– А ведь пахнет штормягой и тому подобное! – проговорил капитан таким искусственно бодрым и даже развязным тоном, как будто бы штормяга доставил Алексею Ивановичу лишь одно удовольствие.

– По-видимому... к тому идет! – ответил серьезно Артемьев.

– Готовы к шторму и тому подобное, Александр Петрович?

– Все готово. Везде осмотрел. Штормовые паруса вынесены.

– Пожалуй, сейчас же поставить штормовые...

– Не прикажете ли подождать, Алексей Иванович?

– Вы думаете, подождать?..

– Ветер еще позволяет нести зарифленные марсели...

«Воин» отлично убегает от волны.

– Ладно. Подождем! – согласился Алексей Иванович и прибавил в виде вопроса: – Пожалуй, к вечеру норд-ост и тому подобное... отойдет?

В голосе звучало нетерпение и что-то заискивающее, точно он просил, чтобы и старший офицер надеялся, что шторма не будет.

– Едва ли. Иван Семеныч говорит, что здесь штормы режут по неделям... Что же, приведем и будем штормовать!.. «Воин» – крепкое судно... Ни малейшей течи...

– И отлично... хорошее судно, да-с. А все-таки наградил Берендеев нас плаванием и тому подобное! – раздраженно сказал Алексей Иванович. – Ну, пойду погреться и попробую соснуть, а уж вы, голубчик... штормовые пораньше... Все спокойнее...

– Не беспокойтесь, Алексей Иваныч... Отдохните хорошенько! – участливо сказал Артемьев.

– Какой тут отдых с этой пакостной погодой!

И, обращаясь к вахтенному офицеру, Алексей Иванович приказал разбудить его, если что случится.

– Да чтобы часовые хорошенько вперед смотрели! – неожиданно строго крикнул он.

– Есть! – уверенно-спокойно ответил Ариаднин. – Будь-

те спокойны, Алексей Иваныч! – заботливо прибавил «мичманенок», нисколько не обижаясь на свирепый окрик всегда мягкого и деликатного капитана.

Молодой мичман понял, что Алексею Ивановичу хотелось отдать какое-нибудь приказание и показать, что и он может быть строгим капитаном.

Алексей Иванович осторожно двинулся по мостику и приостановился у компаса, где стоял Ариаднин. Словно бы извиняясь за окрик, капитан проговорил совсем ласково:

– А вы, Сергей Васильич, оделись бы теплее, а то замерзнете в своем пальтишке. Пришлю полушубок... Да велите матросам дать по чарке водки за меня... Ишь, дьявольский ветер и тому подобное...

Когда Алексей Иванович спустился в свою натопленную каюту, вестовой Никифоров снял с капитана доху и тотчас подал завернутый в салфетку стакан горячего чая и затем графинчик с коньяком. Алексей Иванович подлил коньяку и велел снести мичману полушубок.

– Да и валенки есть, кажется. Снеси!

После четырех часов наверху Алексей Иванович испытывал необыкновенно приятное ощущение физического удовольствия от тепла и дивана. Он выпил стакан чаю, прилег на диван, но спал несколько минут.

Он вдруг вскочил и присел на диване, прислушиваясь к гулу; он чувствовал, как корма вздрагивает на воздухе и тяжело падает. Одному в каюте уж ему не нужно было «по-

казывать пример», и осунувшееся лицо Алексея Ивановича было встревожено и растерянно.

– Никифоров! Узнай, что наверху!

– В одном положении, вашескобродие! – уныло ответил Никифоров, придерживаясь за косяк двери. И, сам бледный от страха, спросил: – Прикажете уложить какие поценнее вещи, вашескобродие?

– Зачем?

– А на случай, если будем топнуть, вашескобродие.

– С чего ты взял?

– Так я подам чаю, вашескобродие?

– Подай и влей три ложки коньяку.

– Есть!

подавая стакан, Никифоров проговорил:

– То-то дома-то у нас лучше, вашескобродие...

– Еще бы!

– А кругом вода... Так не укладываться?

– Ты дурак, Никифоров. Где здесь спастись?

– То-то некуда, вашескобродие... Лучше и не думать. Думай не думай, а все от бога. Захочет, так и штурмы не будет, а будет – вызволит.

И Никифоров как будто несколько успокоился.

Но эта философия не успокоила Алексея Ивановича. Он душевно суетился, как человек, не имеющий под собой никакой почвы и потерявший способность обобщать факты. Снова подняться наверх и посмотреть, что там, ему не хотелось.

В каюте тепло, а там... пакость. И Артемьев сумеет распорядиться. И дали бы знать, если бы что-нибудь случилось. И то он отстоял почти четыре часа, спустившись только, чтобы наскоро пообедать.

И Алексей Иванович то рассматривал карту Берингова моря, прикрепленную к столу, и особенно впился маленькими, красными от ветра глазами в широкий вход из океана в море, между грядой Алеутских островов и Командорскими островами, около которых, верно, американские шкуны разбойничают, уничтожая котиков, то думал о Кронштадте, Ньююше и детях, то смотрел на барометр, то вдруг вспоминал, что течение неизвестно, и вдруг «Воин» летит на «Ближние» острова Алеутской гряды... Крейсер – со всего хода на камень, и всем смерть.

Алексей Иванович благоговейно крестился и падал духом.

– Никифоров!..

Ответа нет. Капитан заорал:

– Спал?

– Точно так... Все не думаешь... Вы, вашескобродие, лучше бы отдохнули.

– Попроси старшего штурмана.

Иван Семенович, рыжий человек лет сорока, всегда был серьезен и даже строг, когда не мог делать обычных наблюдений и не мог определить точного астрономического места «Воина», особенно когда был недоволен морем и берега не

были в очень далеком расстоянии.

Иван Семенович, только что поднятый с койки, на которой сладко спал, с особенно строгим лицом вошел в капитанскую каюту и спросил:

– Что прикажете, Алексей Иваныч?

Капитан просил Ивана Семеновича присесть на «минутку» и повел речь о том, что без обсервации «Воин», быть может, и в Беринговом.

– Течение и тому подобное... Возможно и напороться на Алеутские? Как вы думаете, не привести ли, Иван Семеныч?

Хорошо вышколенный дисциплиной и прощавший Алексею Ивановичу за его доброту его морскую неумелость и суетливость, Иван Семенович не подчеркнул этого и почтительно доложил, что по счислению «Воин» в ста двадцати милях от Берингова, и курс проложен в шестидесяти милях от Алеутских островов.

– Допустим даже, что мы уже в Беринговом. Но днем трудно напороться, Алексей Иваныч. Прикажете к вечеру привести...

Алексей Иванович не настаивал и предложил чаю. Иван Семенович отказался.

– Так рюмочку марсальцы?

– Разве одну, Алексей Иваныч? – строго согласился Иван Семенович.

Иван Семенович выпил две и, желая успокоить Алексея Ивановича, рассказал, что здесь же, лет двадцать тому назад,

на «Красавце» с командиром Берендеевым, они дули с попутным штормом...

Разумеется, Алексей Иванович и не подумал о такой дерзости.

– Береженого и бог бережет. Третью рюмку, Иван Семеныч?.. Марсальца отличная!

– Не время, Алексей Иваныч! – серьезно сказал Иван Семенович и встал.

– А ветер как?

– Разыгрывается.

– Ишь ведь подлец! Не затихнет к вечеру. Как полагаете, Иван Семеныч?

– В море не смею предсказывать. Я не бог, Алексей Иваныч. Отштормуем, бог даст, если придется, – прибавил Иван Семенович, словно бы говорил о самой обыкновенной неприятности в море.

С этими словами Иван Семенович, ловко балансируя своими цепкими ногами, вышел из каюты, нисколько не успокоивши капитана.

Снова охваченный чувствами подавленности и тревоги, Алексей Иванович лег на диван, вспомнил вдруг, что сегодня младшая девочка именинница, и наконец забылся в тяжелом сне.

Старший штурман по дороге подошел к штурвалу под мостиком. Четыре матроса крепко держали обеими руками штурвал и то и дело перекладывали его.

Иван Семенович заглянул в компас и похвалил своего любимца, старшего рулевого Векшина.

– То-то, не давай носу к ветру.

– Насилу сдерживаем. «Клейсер» так и норовит к ветру.

– А ты не пускай. И в разрез большой волны старайся. Ты – умный рулевой!

– Есть! Стараемся, ваше благородие, – ответил Векшин и самолюбиво покраснел.

Поднялся Иван Семенович и на мостик. Внимательно и строго оглядел горизонт.

– Напрасно только разбудил капитан. Тревожится бедняга! – сказал Иван Семенович Артемьеву.

– Суетливый... Ну, и семья, Иван Семеныч!

– И у нас с вами семьи, Александр Петрович!

– Алексей Иваныч не плавал...

– То-то и есть... Хороший, добрый человек, гостеприимный... Марсала у него отличная... А капитан... Не следовало Алексею Ивановичу проситься в дальнее плавание... Ну, я пошел спать, Александр Петрович.

Спустившись в свою необыкновенно чисто убранную каюту, где все было принайтено и ничто не качалось, Иван Семенович завернулся в бараний тулуп и лег досыпать свои послеобеденные полтора часа.

XX

Уже двое суток ревел шторм.

Под штормовыми триселями и бизанью, держась в крутой бейдевинд, «Воин» не поддается ему и мотается, весь вздрагивая и поскрипывая точно от боли.

Океан, весь седой, кипит и ревет, беспощадный и ужасный в своем бешеном, грозном величии.

Беснующиеся волны набрасывались на крейсер со всех сторон, чтобы поглотить его. Они вкатывались на палубу, но наглухо закрытые люки не пускали их вниз, и они бешено перекатывались через палубу, через бак, смыли неосторожного матроса, не удержавшегося за протянутый леер, смыли, как щепки, два катера и окатывали ледяными душами перемерзших людей.

А ветер, казалось, хотел уничтожить крейсер. Он гнул стены и валил его на подветренный борт.

Эти двое суток моряки спускались вниз только погреться и перекусить что-нибудь всухомятку, и снова выходили наверх и сбивались в кучки у грот-мачты, цепляясь за обледеневшие снасти.

Потрясенные, они чувствовали еще сильнее свое ничтожество перед океаном, крестились, роптали и не верили Алексею Ивановичу, когда он кричал в рупор слова одобрения, в которых не было веры. Его осуждали и теперь не стес-

нялись громко проклинать службу.

Только Артемьев внушал еще доверие. Все видели, что в эти дни и ночи он только на несколько часов уходил вниз. Остальное время был наверху и был настоящим распорядителем. Он не терял духа. Возбужденный, обледеневший, с отмороженным лицом, подходил к матросам, говорил, что «Воин» отлично выдерживает шторм, советовал греться почаще внизу и велел выдавать три раза в день по чарке. Матросы чувствовали, что старший офицер заботится о них, не жалея, и при нем ропот и проклятия стихали.

– То-то, братцы, и я говорил, что нечего бояться! – заискивающе потом говорил бледный от страха боцман Рыжий. Многие уж его теперь не боялись и называли первым трусом. И боцман скрывался.

Целых двое суток каждое мгновение казалось многим последним.

И все-таки у всех таилась надежда.

Не сомневались, что «Воин» выдержит шторм, и старший офицер, и «мичманенок», и Иван Семенович, и доктор.

– И не так еще доводилось штормовать! – говорил Иван Семенович.

Иван Семенович почти не отходил от штурвала, который держали шесть матросов, и, возбужденно-серьезный, обыкновенно мало говоривший на службе, он часто похваливал Векшина:

– Молодца «Векша»! Маленький, а удаленький! Вот эту

большущую волну разрежь. Не гордись, седая... Так ее. Право, больше право, одерживай!

И у Векшина в сердце отходила «загвоздка» насчет смерти.

Он думал только о том, о чем и Иван Семенович: как бы не пускать на крейсер громадин-волн.

– Что за величие! Какая мощь! Какая красота! – потрясенный от восторга, восклицал маленький доктор, любуясь океаном и, казалось, в эту минуту забывший, что океан – в то же время и стихийный зверь.

– Только держитесь крепче, Федор Федорыч, смует! – окрикнул «мичманенок», тоже восхищенный океаном.

XXI

На третий день шторм, казалось, усилился.

«Воин» начинал изнемогать в непосильной борьбе.

Волны чаще врывались и дольше застаивались на палубе. Заливаемый ими нос тяжелее поднимался. Крейсер плохо слушался руля и безумно метался, словно в агонии.

В девятом часу утра «мичманенок», посланный старшим офицером узнать, как в трюме вода, видимо взволнованный, поднялся на мостик.

Считая ненужным доложить сперва Алексею Ивановичу, который добросовестно мерз на мостике, безмолвно представив распоряжаться всем старшему офицеру, Ариаднин сказал Артемьеву, что вода в трюме прибывает.

– На помпы! – в рупор крикнул старший офицер.

Безнадежный ужас охватил всех. Никто не трогался. Смерть, казалось, неминуема.

– На помпы! – повторил Артемьев и бросился вниз.

Его чуть было не смыло. Удержали матросы.

– На помпы, живо! Или не хотите спастись? – бешено крикнул Артемьев.

Ариаднин уж был тут и повел с собою матросов.

Через несколько минут помпы работали.

Артемьев уж был на мостике.

Возбужденный опасностью, он почувствовал в себе

необыкновенный подъем духа и стал «рыцарем на час». Он забыл обо всем, все личное казалось ему таким ничтожным и мелким... Он один теперь ответствен перед всеми. Он должен ободрить и спасти людей. И весь он охвачен одною только мыслью: бороться до последней минуты.

Алексей Иванович уже мысленно простился с близкими и, уверенный в смерти, с бесстрашием покорности смотрел на близкие волны и почему-то сбросил с себя шубу, подхваченную ветром в океан, и думал, что должен исполнить долг до конца: умереть на людях не трусом – командиром.

Последние минуты, казалось, наступали...

«Воин» лег на бок... Волны набросились...

– Руби грот-мачту! Руби, братцы! – гаркнул в рупор Артемьев. И был уж у мачты вместе с доктором, старшим штурманом и несколькими матросами.

Несколько ударов топора, и мачта за бортом...

Крейсер поднялся... Все глаза устремились на Артемьева, как на спасителя.

Помпы работали... Разводили пары...

Отчаяние сменялось надеждой, надежда отчаянием...

«Воин» еще метался на волнах.

Шторм затихал... Но положение «Воина» было отчаянное... Несмотря на усиленную работу помп, вода не убывала. Напротив, постепенно прибывала.

Еще четыре часа, и вода зальет крейсер.

Стали стрелять из орудий, извещая о бедствии.

Так прошло два часа. Надежды уже не было ни у кого. Матросы бросили помпы и взобрались на мачты...

– Судно! – вдруг раздался чей-то голос.

По крейсеру раздалось «ура!».

К «Воину» летел под парусами трехмачтовый пузатый китобой под американским флагом.

На «Воине» крестились. Некоторые плакали. Два матросика безумно хохотали.

Через час все погибающие были на китобое. И только что китобой отошел, «Воин» уже исчез в океане.

Спасенных привезли во Владивосток.

Командира, старшего офицера и старшего штурмана предали морскому суду за гибель «Воина».

Все были оправданы. Алексей Иванович, не пожалев своего самолюбия, заявил на суде, что только старшему офицеру люди обязаны спасением.

О панике, бывшей на военном судне, никто не сказал.

После суда капитану и всем офицерам разрешено было вернуться в Петербург.

Артемьев уже узнал, что «великолепная Варвара» выходит замуж за товарища министра Нельмина.

Но море заставило Артемьева другими глазами взглянуть и на себя, и на увлечение «великолепной Варварой», и на ее лживость, и на многое другое. И он возвращался домой, благодарный морю и счастливый, что жив.

